

Александр Гордеев

ЖИЗНЬ
ВОЛШЕБНИКА

16+

Александр Гордеев

Жизнь волшебника

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9998776

Аннотация

Содержание романа "Жизнь волшебника", 77 глав. Общий объём романа около 70 п.л. Социально-психологический классический, российский, роман.

ЖИЗНЬ ВОЛШЕБНИКА

Роман

*И Ангел, и Тень с надеждой смотрят вслед
каждому, шагнувшему в этот мир...*

Автор

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Предисловие

Никто с абсолютной уверенностью не знает, есть ли Бог. А если есть, то кто именно: Яхве,

Христос, Будда, Магомет, Сварог? Если есть сразу все, то как они делят верующих между собой? А

может быть, Бог как Великий Наблюдатель – один, да каждому отзывается по-своему? Во всяком

случае, если сложить всю энергию вер, то Бог должен существовать уже от одной этой энергии. Но

слей в одно всю ярость и скепсис неверия, то станет ясно, что Бог просто невозможен. Так или

иначе, но очевидной истины тут нет. Даже тут, в самом главном... Страшно подумать, из каких

ложных, но грандиозных сказок состоят жизнь и история Человечества! Правды в ней нет!

Но если наш мир без Бога, то кто же или что управляет им? Одни утверждают, что объективные

законы, неподвластные людям, другие свидетельствуют, что мир изменяется под влиянием

древнего масонского заговора, что, мол, если сконцентри-

ровать все финансы в одних руках, то
такие руки могут управлять и самой этой объективностью,
то есть мир просто подвластен
избранным.

А как во всей этой неопределённости жить: по законам
разума или по законам эмоций? Искать
ли истину, если её до сих пор ещё не нашли? Получать
наслаждение от всех жизненных
проявлений или, напротив, видеть его в отказе от всяче-
ских радостей?

Неизвестность – вот главный материал, из которого мы
строим свои судьбы. Жизнь каждого из
нас создаётся как раз из того, что выплывает из неизвест-
ности в самом её процессе. Если бы всё
знать наперёд... Но – увы, увы – мы держим в руках лишь
ниточки своей жизни, которые ведут нас
через массу самых различных событий: где-то идут войны
с фонтанами взрывов и свистом пуль, в
космосе висят космические станции, запущенные
людьми, и летающие тарелки, созданные то ли
инопланетянами, то ли нашим воображением. На Земле
одновременно рождаются тысячи человек,
и тысячи умирают. В одно и то же время несутся куда-то
сотни самолётов, а по сетке железных
дорог в разных направлениях грохочут тысячи поездов.
Миллионы судеб катятся сейчас в одном

направлении, и миллионы – в другом. Вообрази, что ты едешь не в этом поезде, а в поезде, прогремевшем навстречу, и должен будешь признать, что тогда многое в твоей жизни должно быть иным. Возможно, навстречу тебе пронёсся совсем другой вариант твоей судьбы.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Эпоха в три дня

...Когда смотришь днём в окно, то видишь, как стремительно летит твой скорый поезд, а когда ночью лежишь на полке, то кажется, что он месит и месит эту нескончаемую дорогу на одном месте. И только в те моменты, когда навстречу с гудком, мощно раздирающим монотонный перестук, проносится встречный поезд, представляется, что твой вагон на какое-то мгновение рывком устремляется вперёд. Открываешь потом глаза, намаявшись долгим сном на вагонной полке, и будто приходишь из какого-то осязаемого небытия. Да сколько же лежать?! Пора встать и потянуться, распрямляя поток обновлённой жизни в звонких костях.

Пора уже пересаживаться на другой поезд, уже на сибирскую ветку-линию.

Двое уволенных в запас солдат-пограничников, лишь сутки назад покинувших свою заставу-

оазис, затерянную в бесконечных песках, сонно сходят на небольшой узловой станции. Уже здесь

они отличаются от других дембелей такой чернотой лиц, которую и загаром не назовёшь.

Справившись в кассе о билетах, они занимают удобную позицию на скамейке перед вокзалом и,

2

пряча друг от друга один и тот же интерес, наблюдают за женщинами и девчонками. В отличие от

их маленькой планеты-заставы, женщин в этом мире, оказывается, столько же, сколько и мужчин и

даже, пожалуй, чуть больше. И это очевидное открытие не может не вдохновлять.

Благостно состояние «гражданки» и внезапной, непривычной свободы. Их скамейка стоит в

тени прибитого к штакетнику большого красного плаката – кажется, с какими-то призывами к

Первому мая. К деревянным столбикам приколочены легко трепещущиеся маленькие красные, но

уже чуть выцветшие флажки. Всё это праздничное оформление почему-то здесь ещё не убрано,

хотя уже и с Девятого мая прошло не менее недели. Откуда-то из здания станции «Песняры» поют

свою «Вологду-гду». Ботинки, на которые не хватает тени плаката, по-военному пахнут кожей,

гуталином и, как будто, всё ещё пограничной заставой.

Если смотреть только на ботинки, то кажется, что и застава тоже здесь. А вот и нет – ботинки вместе с ногами, вдетыми в них, небрежно брошены уже на другом асфальте – на асфальте станции и дороги домой.

Потом, даже чуть перегрузившись столь горячими наблюдениями, солдаты размооренно дремлют чутким, не до конца отключающим от этой праздничной жизни сном и встряхиваются, как по команде, когда с другого конца их скамейки слышат щебет двух девчонок – не то школьниц, не то пэтэушниц. Дембеля пытаются поболтать с ними отчего-то внезапно одеревеневшими, будто не своими языками, и даже облегчённо вздыхают, когда минут через десять острые на язык пэтэушницы, подхватив сумки, убегают на местную электричку. На первый раз хватит и этого.

Теперь они сидят, удивляясь тупости своих мозгов, как будто предназначенных пока лишь для разговоров с теми, у кого на плечах погоны.

О женщинах в армии мечталось много. Женщина представлялась там главной, генеральной линией жизни. Сколько разных фантазий перемалывалось во сне и наяву! Гражданская жизнь, если честно, в основном-то и манила этой, казалось, бесконечной перспективой. Это ж

представить только – сколько разных женщин на свете! Они чёрненькие и беленькие, русые и рыжие, полные и худенькие, маленькие и высокие, с разным цветом глаз, с разными ногами. Ну, в общем, тут всего не перечислишь, уж не говоря о том, что все они ещё и разных национальностей.

У них разные голоса, походки, жесты... Но стоп, стоп, пожалуй, об этом лучше не думать сейчас!

Тем более, что мощное притяжение женщины видится Роману Мерцалову унижительным, как нечто подавляющее, делающее безвольным. Да и совестно это, в конце концов. Ведь близость – это

наслаждение только для мужчины. Не зря же он тратит столько энергии, чтобы это удовольствие

получить. Обладая женщиной, мужчина просто унижает её. Обладание – это всегда насилие,

независимо от того, как оно достигнуто: силой, лаской или нежностью (в сущности, обманным

оружием того же насилия). Этого насилия нет разве что на фоне любви. Но любовь! Любовь – это нечто из области космического...

Как же стыдно, осознавая себя душевно чистым, наблюдать такое мутное брожение в себе! Что

с ним такое?! Во что он превращается?! В разговоре с этими языкастыми малявками он и сказал-

то, а точнее, выдал из себя лишь несколько слов, но ведь

ему при этом почему-то хотелось

просто в лепёшку расшибиться, чтобы понравиться им. На него странно действовало всё:

крашенные ногти, ресницы, глаза, а лямка лифчика, увиденная очень близко в вырезе платья одной

из девчонок, потрясла так, что отяжелевшую кровь не выходит успокоить и сейчас.

Витьке в этом смысле легче. Он горожанин и не ослаблен таким наивом о женщинах. Как-то в

разговорах он даже заявил, что женщины как раз для того и нужны, чтобы служить мужику. Ну,

понятно, что уж это-то и вовсе ни в какие ворота не лезет!

Сослуживцам Роману Мерцалову и Витьке Герасимову сидеть на этой станции ещё восемь

часов. В ближайшем поезде «Москва – Улан-Батор», который вот-вот подойдёт, свободны лишь

купированные места. Военские требования дембелей выписаны на плацкарт, и для купе требуется доплата.

– Давай поедем на этом, – уже в который раз предлагает Роман.

– Ничего, подождём, – отмахивается Витька, – мы не пенсионеры в купе сидеть. Там и

проводницами-то одни старухи...

Конечно, это убедительно, но дело тут всё же не в старухах, а в деньгах. У Витьки мечта:

приехав домой, сразу же – хоть ночью, хоть днём – прокатиться от вокзала на такси и

полюбоваться своим городом. Потому и не хочет он отдавать мечту за «лишнюю стенку в вагоне».

– Там и доплатить-то надо копейки, – уговаривает Роман, – хочешь, я дам тебе на это твоё такси? У меня хватит.

– Не возьму. Да и откуда у тебя лишние деньги, капиталист?

– Просто ты куришь, а я нет.

– Ишь, экономный какой.

Не сговорившись, замолкают, успокаиваются и снова дремлют, убаюканные дурманом цветущей

черёмухи из палисадника. После «прозрачного» на запахи воздуха пустыни этот густой аромат

трудно продохнуть – хоть бери лопату и отгребай его куда-нибудь в сторону. Эх, а как же всё-таки хорошо на «гражданке»!

...Просыпаются они оттого, что станционный динамик издаёт какой-то странный звук и

3

дремавшим кажется, будто на станции кукарекнул гигантский петух, которого хватило бы не то что

на три улицы станции, но и на целый город. Объявляют о прибытии поезда, который они пропускают. Ох уж эта маята дальних дорог и станцион-

ных ожиданий! Особенно после службы,
когда так хочется домой.

– Нет, ну почему это я должен здесь торчать?! – взрывается, наконец, Роман. – Меня дома ждут,
а я тут сижу тебя, такого принципиального, уговариваю!
Тебе до дома уже рукой подать, а мне до
Читы ещё пилить да пилить...

– Э, да ладно! – махнув рукой, соглашается Витька. – Как-нибудь сторгуюсь с таксистом.

Когда уже в тёплых мягких сумерках молодые спортивные дембеля поднимаются в вагон, то

останавливаются ошеломлёнными: на окнах – крахмальные занавесочки, на полу через весь пенал коридора – мягкая дорожка, перед которой хочется разуться. Но главное – встречают их две

красивейшие проводнички, примерно ровесницы. Наверное, тот, кто стоит над всеми нами (если он всё-таки есть), поняв, что нужно вчерашним солдатам, дарит им эту невероятную встречу. Хотя, с

другой стороны, кто же ещё, если не красивые девушки, должны работать в поездах

международного следования? Можно бы и сразу об этом догадаться!

Едва аккуратные дипломатики новых пассажиров оказываются приткнутыми в купе, как Витька

бежит знакомиться. Роман никогда до этого как-то не при-

смастривался к его внешности: рожа да

рожа, примелькавшаяся за два года, но теперь он пробует взглянуть на Витьку свежим,

оценивающим взглядом. А там, как ни приглядывайся, всё равно смотреть не на что. И куда он

только суётся со своей круглой, как арбуз головой, с огромным ртом, со сплюснутым на пол-лица

носом? На заставе Витьку называли Муму. Правда, не из-за внешности. Допустимо ли быть

проводником служебной собаки, носить фамилию Герасимов и не зваться при этом Муму? Для

сослуживцев это было бы непростительным: зря что ли Тургенева-то в школе проходили? Весёлый

Витька на Муму не обижался, иной раз сам шутливо подтягивал и этим обезоруживал всех.

Романа на заставе звали Блондином, но как-то с оттенком иронии: мол, ах-ах, какие мы из себя. И

всё это лишь из-за того, что под ярким солнцем пустыни его чуб стал совершенно светлым, а лицо

– коричневым, ещё более усилив его «блондинчатость». Но Роману, конечно же, больше нравится

своё второе прозвище – Справедливый. Это, пожалуй, уже не прозвище, а статус. Оно появилось,

когда он уже был «дедом». Так прозвали его солдаты первого года службы, а одногодки

посмотрели, прикинули и решили, что, конечно, Блон-

дин-то он Блондин, а по сути – и впрямь:

Справедливый. Так уж выходило, что многие общие разговоры почему-то заканчивались его репликами. Он посидит, послушает, а потом выдаст своим спокойным, густым басом какую-нибудь единственную фразу, после которой и говорить уже не о чём. Всё – «базара» нет.

Странное ощущение испытал Роман, впервые услышав своё новое прозвище. Казалось, он даже как-то по-новому осознал себя, будто оказавшись в некой рыцарской чистой, до скрипа и хруста крахмаленной рубашке. И это ощущение закрепилось навсегда. А ведь прозвище-то, по сути, куда точнее имени. Возможно, это и есть настоящее, уже заслуженное имя. Какие меткие прозвища у людей в его родной Пылёвке! Уж там прилепят так прилепят – не оторвёшь и не отвертишься. Потому что точно. Ещё в детстве, после одного трагического происшествия, случившегося с ним, Роман обнаружил в себе умение видеть некоторых людей в цвете. Не раз думая об этой своей способности, он решил, что ощущение цвета возникает у него произвольно, как некое общее впечатление от того, *что* человек говорит, как говорит, что делает, как двигается, и от всего прочего. Конечно, разноцветность людей в толпе

не различишь. Для того, чтобы воспринять человека так необычно, надо сосредоточиться, подключить особое восприятие, взглянув на него с точки зрения цвета. А вот осмысливая своё новое прозвище, Роман понял, что на человека можно смотреть ещё и с точки зрения его настоящего имени. Окинул кого-нибудь таким вот общим взглядом и понял его образ, его настоящее имя.

Витьке, убежавшему к проводницам, стоит теперь даже посочувствовать: было у человека

хорошее настроение, так нет, надо куда-то лезть и обязательно его испортить – получит сейчас от ворот поворот и вернётся, почёсывая свою «тыковку».

Вздыхнув, Роман запрыгивает на мягкую полку, ворочается, повыше устраивая голову. Полка коротковата – не вытянешься, сто восемьдесят

сантиметров роста здесь не умещаются, ноги упираются в стенку. Ну да ладно, зато можно

полежать и подумать. Только вот с мыслями туго. Ах, как хочется тоже к этим девчонкам! Но как, о

чём с ними говорить? Прийти к ним и снова тупо мычать, как совсем недавно на скамейке? Ой, но этот-то чудило что им сейчас заливает?!

Витька прибегает минут через двадцать: взбудораженный, улыбающийся во весь возможный

диапазон и, просто сдёрнув его с полки, тащит в начало вагона.

– Не трусь, деревня, – свысока говорит он, отчего-то вдруг резко начав разделять их

происхождение, – веселее поедем.

Роману даже смешно – ах, как быстро всё меняется на «гражданке». На заставе, где он был

Справедливым, никому и в голову не приходило с на- смешкой кивать на то, что он деревенский.

Впрочем, там это и смысла не имело – деревенских на гра- нице больше половины.

В купе у девушек очень уютно, на полочках – ажурные салфеточки. Витькин успех просто

4

необъясним. Рот постоянно до ушей, да что до ушей – от такой улыбки и уши к затылку сдвинуты.

Нос и вовсе расплюснут, как у селезня, глаза – щелки с блестящими шариками-огоньками.

Впрочем, наверное, это вид вполне счастливого человека, едущего домой после завершения

важного дела. А тут ещё такие девушки! Его хочется даже предостеречь, чтобы он не возомнил,

будто вся жизнь будет такой.

Оба пограничника сразу же отдают предпочтение одной – Любе. Вторая проводница – Наташа -

из-за обручального колечка на пальце автоматически вы-

падает из их поля зрения. Люба спокойна, рассудительна, внимательна. Хозяйничая и встречая ребят, словно давних знакомых, она с улыбкой накрывает на крохотный столик, и ребята, уже умеющие смотреть на жизнь трезво и практично, тут же отмечают её хозяйскую ловкость. Вот Люба берёт нож, кладёт на доску длинный и кривой, как бумеранг, огурец. Потом звучит что-то похожее на чуть замедленную автоматную очередь, и огурец распадается на тонкие, ровные кружочки. Солдаты даже робеют оттого, что, оказывается, их сверстница может быть уже настоящей хозяйкой.

Говорят они, конечно, только про службу, вспоминая всё смешное, и выходит так, что служба их выглядит какой-то забавной. Но этим самым они уже романтизируют её, считая самой лучшей из всех возможных служб. Разговор катится с шутками, со смехом и вот, где-то через час-полтора, казалось, на самом гребне веселья, Витька вдруг возьми да брякни:

– А что, Люба, выходи за меня замуж...

Роман от этого и вовсе шалее: конечно, лучше бы таким не шутить, но жизнь-то ведь и вправду лихо распахивается как большие ворота – теперь в ней даже жениться можно!

– Выходи, выходи, – сходу на той же волне подыгрывает он, надеясь, что Люба не обидится. –

Витька – парень хороший, честное слово, хороший. Уж я-то знаю. Гарантирую.

– Да ну вас, трепачи, – вздохнув, отмахивается она.

Шумный, сумбурный разговор катится дальше, а минут через десять снова:

– Люба, так ты выходи за меня, а?

Снова смеются. Снова с жаром и шутливо Роман поддерживает друга, а потом, когда Витька

повторяет это и в третий раз, перестаёт смеяться.

– Давай-ка выйдем, – предлагает он.

Выходят в гремящий железом тамбур.

– Тебе ещё не надоело? – спрашивает Роман. – Что ты, как попугай, заладил одно и то же? Нас

приняли по-людски, а ты?

– А почему мне должно надоест, если я всерьёз? – обиженно удивляется Витька.

– Всерьёз!?

– Ну конечно. А что? – у Витьки такой вид, словно жёниться для него – это всё равно, что чаю

попить. И вообще, он теперь уже какой-то другой. Ещё убегая знакомиться в купе, был

взъерошенным и нагловатым, а теперь – серьёзный и вроде огорошенный чем-то. Таким его

видеть ещё не приходилось.

– Слушай, Справедливый, – сжав для убедительности кулак, говорит он, – да ты смотри,

деваха-то какая! Такая уж вряд ли ещё встретится.

Оказывается, за два года службы Роман совершенно не узнал Витьку. Впереди у него родной

город, масса девушек, а он стоп – и всё! И совета ни у кого не спрашивает, и о судьбе, о

счастливых или несчастливых случайностях не рассуждает. И так при этом уверен, что, пожалуй,

не может быть не прав. И как его за это не уважать?

Они возвращаются в купе.

– Люба, а ведь Витька-то всерьёз, – сообщает Роман, вдруг погрустневший оттого, что и сам

теперь смотрит на Любу совсем иначе.

Люба смеётся. Они с Наташей наслушались тут и не такого. А эти, вроде, и вовсе сговорились,

чтобы врать поскладней.

Романа её неверие вдруг обижает по-настоящему. Кому же ещё верить, если не им, надёжным

ребятам, прошедшим серьёзную пограничную службу?

Он начинает доказывать всю

основательность Витькиных намерений, клянётся всем, чем только можно. Витька же при этом

внезапном сватовстве и вовсе падает на колени, считая это каким-то предельным аргументом.

– Стрелочки на брюках не сломай, – отмахнувшись, сме-

ётся Люба.

Она поворачивается к Наташе и говорит о каких-то своих делах, о каком-то беспокойном

подвыпившем монголе. Витьке надоедает стоять на коленах, и он уныло садится на корточки у

дверей под титаном. За окном уже белеет: куда и ночь делась? Витька смотрит на часы.

– Послушай, Люба, – говорит он, поднимаясь и втискиваясь в купе, но договорить не успевает.

Вагон вдруг сильно дёргает, у шкафчика распахивается дверца, и Витька натывается головой на

её угол. Наташа прыскает от смеха, Люба сочувственно морщится. Витька стоит, держась одной

рукой за стенку, другой – за ушибленное место, на глаза выскакивают слёзы.

– Мне остаётся всего один час, – продолжает он, только теперь уже надтреснутым от боли

голосом, – а ты всё не веришь. Выйдем, поговорим наедине.

– Ну что ж, выйдем, – подумав, соглашается Люба. – Больно, да?

5

Они выходят.

– Надо же, как получается... – говорит Роман, чтобы хоть как-то прокомментировать события.

Наташа молчит. Грустно и задумчиво глядя в окно, дума-

ет о своём. Роману становится неловко
от этого молчания.

– А что, Наташа, – говорит он, – ведь поезд-то ваш международный... Неужели на нём, и
вправду, иностранцы ездят?

– Их и сейчас в поезде полно, – нехотя, словно отмахиваясь, отвечает Наташа, – только в
других вагонах. Ну, китайцы – это само собой. Бывают и немцы, и итальянцы. И даже американцы.

– Ух ты! И даже американца? Вот сволочи!

– Почему «сволочи»?

– Ну, так чего им тут ездить-то?

Наташа снова молчит. Совершенно лишний, Роман, вздохнув, идёт в своё купе. Люди там спят –

пассажиры, видимо, дальние: на столике лежат потрёпанные, усталые карты. Присев около кого-

то, спящего внизу, он тоже смотрит в окно сквозь отпотевшее стекло и лёгкий утренний туман. В

вагоне сумрачно, тепло и чуть душно от спящих. Роман на мгновение забывается в дрёме, а,

очнувшись, видит в этом тумане белые высокие дома: в каком красивом городе живёт Витёк! Он и

называется-то как: Златоуст! Роман даже волнуется за Витьку: всё, один из них уже дома. Витьке

пора бы уж и собираться. Работают тормоза, упругими толчками подергивая вагон, над самым

окном прочерком пролетает хриплый голос промоченного дождями и замороженного

станционного динамика. И тут, наконец, возникает явление сияющего Витька.

– Всё, договорились! – восклицает он веером такого восторженного шипящего шёпота, что

пассажир, у ног которого сидит Роман, вскидывает голову и, увидев традиционно неугомонных

солдат-дембелей, переворачивается на другой бок каким-то резким брыком. – Когда она поедет назад, я сниму её с поезда.

– Да как же ты уговорил-то, а?

– А просто взял вот так за плечи, посмотрел в глаза и сказал: «Люба, верь мне, я не вру». Ну,

как тут не поверишь? Это твой или мой дипломат? Ну, про детали уже некогда, да и к чему они тебе?

А вот то, что он так легко откальвается – это даже обидно. Да что поделаешь – теперь у каждого дорожка своя.

Когда они с Витькой выходят на влажный, со следами только что порабатавшей метлы перрон,

Люба с флажком в руке стоит у выхода. Ей привычно провожать пассажиров – людей, с которыми

уж наверняка никогда не встретишься, но сегодня один из пассажиров особенный. Его и

пассажиром-то теперь не назвать... Витька пожимает ей руку, робко прикасается к локтю, и видно, что больше волнуется не от воздуха родины, а от этого расставания. Эх, только бы не обманул он её! У него ведь будет сейчас много встреч, новых знакомств... И этот дорожный эпизод может просто задёрнуться вот таким же туманцем. А Люба будет надеяться... Роман ловит себя на том, что мучительно завидует Витьке. Во всяком случае, не хочется чувствовать себя таким оторванным от них, ведь всю ночь провели вместе, ведь, казалось, и решили-то всё сообща.

– Видишь, Витька, как всё повернулось, – говорит он, пытаясь восстановить свою сопричастность, – а мы ещё хотели этот поезд пропустить...

– Ага, точно, – подхватывает тот, обращаясь к Любе, – не хотели за купе доплачивать. Денег не хватало. Я думал, хоть в тамбуре поеду, зато уж на такси по всему городу всё равно прокачусь. Я это два года во сне видел. А, да теперь всё это ерунда...

– Эх ты, уж скопить не мог, – мягко, как уже своего, упрекает Люба, вынимая из кармана куртки пятёрку. – Этого хватит?

Витька на мгновение смущается, но тут же заливается уже другим, более глубоким светом.

– Вполне, – так же по-свойски отвечает он, берёт голубоватую бумажку и суёт её в карман кителя.

И теперь почему-то становится совсем очевидно – нет, Витька не обманет. Роман подаёт руку своему армейскому другу, крепко поддёргивает его к себе за прокалённую пустыней шею.

– Ладно, Муму, пока!

– Будь здоров, Справедливый! Оставайся всегда таким! Ты и в этот раз мне помог.

Не дожидаясь отправки, Роман поднимается в вагон.

Ехать ему ещё долго. Днём в вагоне дежурит Наташа, а Люба отдыхает. Даже после ночи без

сна он не может толком уснуть: выхватывает сон рваными кусками. Будто не спит, а преодолевает

громадное поле вагонной полки мелкими бросками и перебежками. В основном же лежит,

воображая не свою, а Витькину теперь такую ясную, определённую жизнь. И прежде всего в этой

Витькиной жизни видит Любу. Только что-то уж чересчур ясно он её видит. Да не просто видит, а

самой душой откликается на все её черты: чуть смугловатое лицо, длинные, повседневно просто,

но очень женственно уложенные волосы (наверное, тяжёлые и очень мягкие), плавную седловинку

на слегка вздёрнутом носике, благодаря которой, если Лю-

ба улыбается, то весёлость её

выражается не только губами, но и этим красивым носиком и ласковыми серыми глазами.

6

Вспоминает её глубокий грудной голос, будто греющий саму душу, её ловкие плавные движения.

Помнит её уши и крохотные серёжки, которые уже не какое-то девчоночье баловство, а добавляют

ей ещё больше женственности. Вспоминая же лёгкий пушок на её шее, Роман чувствует, что у него

клинит дыхание. Ему уже не терпится увидеть её снова, чтобы проверить, действительно ли в ней

всё так прекрасно, как помнится. Но что это с ним? К тем девчонкам на станции его тоже влекло,

да только как-то грубо и определённо. Здесь же всё иначе. Той тёмной грубой тяги в нём уже нет.

Всё улеглось, успокоилось. И не нужно гадать отчего – конечно же, от чистого, озаряющего

излучения Любы.

Как же он сам-то не сразу разглядел её? А мог бы и вовсе не разглядеть, не выкинь Витька этот

фокус. А он, дурак, ещё и поддакивать начал. А надо было, не отставая от него, взять да и сказать:

«А может, лучше за меня выйдешь? Выбериай». И тогда они с Витькой были бы на равных...

Конечно, можно и сейчас пойти и сделать Любе это пред-

ложение, но без Витьки оно уже недопустимо. Теперь он от Витьки безнадежно отстал. У друга уже всё определено, а у него продолжается, как и намечалось, дорога в своё село. Каким незначительным кажется ему на какое-то мгновение это возвращение.

Хотя дома его, кажется, ждёт сюрприз. Мать уже несколько раз упоминала в письмах о какой-то Свете Овчинниковой. Только вот фантазии о предстоящем знакомстве со Светой, волнующие ещё вчера, сейчас кажутся совершенно тусклыми.

Вечером Роман снова сидит в купе проводников. Скорый поезд останавливается редко, все пассажиры уже спят. Отдыхает в купе за стенкой и набегавшая за день Наташа, а они с Любой пьют чай из стаканов тонкого стекла.

Люба сегодня уже не та. Романа она слушает как будто больше из приличия. Теперь она словно не вся здесь, а если изредка улыбается ему, то какая-то часть улыбки отсылается человеку, который уже в её душе. Конечно же, теперь ей хочется как можно больше знать о Витьке. Роман с грустью понимает, что теперь он для неё не более, чем источник сведений о другом.

На столике рядом с заварником лежит тоненькая книжка Брежнева «Целина» с нарисованными

на обложке комбайном и жёлтыми колосьями пшеницы.

– Ты что, читаешь это? – спрашивает Роман.

– У нас перед поездкой лекция была, – поясняет Люба, – а после неё лектор купить предложил.

Я взяла, чтобы в дороге полистать. Об этом сейчас так много говорят.

– Ну и как тебе?

– А знаешь, многие ведь посмеиваются над этой книжкой. А я почитала – мне интересно. А сам-то ты читал?

– Мы изучали её на политзанятиях – в погранвойсках с этим строго. Многие, правда,

отлынивали, но мне тоже показалось, что неплохо, хотя, например, нашему совхозу до этих описанных достижений как до Китая пешком.

Теперь, без Витьки, вспоминать о службе вроде бы нет смысла, и когда о нём выложено,

кажется, уже всё, Роман невольно рассказывает о себе, о том, как он представляет свою дальнейшую жизнь.

В последний год службы отец писал чаще, рассказывая о совхозных делах и как-то между

строчками призывая сына вернуться домой, а не мотаться, как некоторые, куда-нибудь на стройку.

Романа это даже задевало, потому что все его планы и без всяких призывов связывались с родным

селом. В каждом письме, пестрящем массой ошибок, отец агитационно расхваливал новые

порядки в селе, утверждая, что теперь людям стало жить легче. Теперь уж, например, можно

забыть про крапиву, которой раньше всё лето кормили чушк – куда удобней прихватить из совхоза

мешок комбикорма. И тут его уже прорывало (далее хвалить не получалось): он костерил и

расцветшее в селе воровство, и самого директора совхоза, и всех прочих, кто находится при

директоре. И в конце, спохватившись, что от агитации его увело куда-то вкось, приписывал всегда

одно и то же: «Ну, в общем, приедешь, так сам всё увидишь».

Изменения, о которых говорил отец, связывались с преобразованием их среднего, но

стабильного по достатку колхоза в совхоз. Преобразования начались ещё тогда, когда Роман

заканчивал десятый класс. В селе тогда только об этом и гудели. Районные верхи считали тогда,

что это неприличная отсталость – не иметь в районе ни одного совхоза. И выбор пал на Пылёвку.

Впрочем, все нынешние дела Роман знает не только из писем отца, но и из писем лучшего

школьного друга Сёреги Макарова, который совсем недавно поступил в музыкальное училище в

Чите. До этого он учился в политехническом институте, но на втором курсе бросил его. Послужить в армии Серёге не довелось – забраковали на медкомиссии из-за плоскостопия. Живя теперь в городе, он тоже тоскует по селу, только вот своё будущее всё меньше и меньше связывает с ним.

Его тяга к дому почему-то постепенно сходит на нет. Роман же стоит на своём, так что главной темой их двухлетней переписки всё равно были планы о том, как и что сделать дома, чтобы жилось там хорошо.

Именно поэтому за время службы в белых, сухих песках Блондин, а потом Справедливый, удивлял сослуживцев двумя совершенно противоположными страстями: фанатичным постижением

7

искусства рукопашного боя и чтением специальной литературы о зерновых культурах, об овцеводстве и вообще обо всём, что хоть сколько-нибудь касалось земли и села. Ну, с рукопашным-то боем всё понятно – на то они и погранвойска, чтобы этому учиться, а какая-нибудь агрономия тут при чём? Да при том, что всё это сгодится после службы.

Уроки же рукопашного боя на их заставе почитались особо, потому что преподавал их

прапорщик Махонин, прошедший, судя по всему, и Крым, и рым и вроде как спрятанный от кого-то на их заставе. Ходили слухи, что ещё совсем недавно Махонин был не пограничником, а служил совсем в иных частях и был не прапорщиком, а офицером. Как-то во время одного доверительного разговора после тренировки Роман спросил его, почему он оказался здесь, на отдалённой заставе?

– Да так, – отмахнувшись, ответил Махонин, – убил случайно не того, кого следовало.

Но, судя по тому, что офицеры, приезжающие из отряда для разных проверок, называли его не по званию, а просто и уважительно Александром Сергеевичем, убил-то он, видимо, как раз того, кого следовало. И не случайно. Хоть и из своих. Иначе бы его не прятали. Однако, как бы ни относились к нему офицеры, чувствовалось, что внутренне Махонин тёмн, как бездна.

Впечатление о нём такое, будто, находясь здесь, Махонин подчиняется чему-то далёкому и невидимому. Такие люди всегда настораживали Романа, но здесь почему-то выходит иначе – глубинная темнота и тайна прапорщика кажутся притягательными.

Уже с первых занятий по рукопашному бою Роман стано-

вится не только самым прилежным его учеником, но и самым внимательным слушателем, хотя, конечно же, *всего* прапорщик не говорит никому. Свой предмет, который он считает искусством, Махонин преподаёт не совсем обычно. Со странной чуткой улыбочкой хищника прапор частенько предупреждает, что вот так наносить удары в Советской Армии разрешается, а вот так – уже нет, потому что это из чуть иной программы, когда надо кого-нибудь прямиком отправить на тот свет. А Советская Армия – защитница (такова наша идеология – не забывайте, пожалуйста) и этого в ней знать не положено. «Так что всё запрещённое, что я вам тут показываю, лучше забудьте». Странный совет – да как же после этого что-нибудь забудешь? Более всего Махонин почитает искусство тайного удара. Никто ведь не замечает, как работает фокусник. И мастер рукопашного боя может так! Бьёшь у всех на глазах, но никто этого не видит. Разработка чисто махонинская. Во-первых, тут есть элементы отвлечения, почти такие же, как в фокусах, а во-вторых – невероятная молниеносность удара.

– У каждого мастера своя фишка, – говорит Махонин, – у меня – эта. У неё два названия: «Мгновенный зверь» (ну, это понятно) и «Щелчок вол-

шебника».

– Волшебника?! Почему «волшебника»? – спрашивает изумлённый Роман: с детства это слово для него особенное.

– Во-первых, потому что красиво, во-вторых, потому что кощунственно, что ли... Ведь с волшебником связывается всё доброе. А здесь удар. Но волшебство не даётся просто так. За ним есть что-то необычное, чудесное. А чудесное возможно лишь от дьявола.

– Разве волшебство от дьявола? – совершенно запутавшись, недоумевает Роман.

– Видишь ли, мой дед был фокусником в цирке. Весь такой улыбчивый, добрый. Помню его

афиши. Его иначе, как волшебником, и не называли. Но я-то с детства знал, что за каждым его

красивым чудом – обман. Как говорят, «ловкость рук и никакого мошенничества». И это суть любых

чудес и волшебства. Вот и рассуди... Зато папа мой был прямолинейный и сильный – цирковой

акробат. А я смотрел, смотрел на всё это дело, и хоть меня с детства приучали и к тому и к другому,

но нет, думаю, тесно мне под вашим куполом, надо под большой голубой купол с настоящими

облаками вылезать. Вот и кувыркаюсь теперь под ним. Цирковые дети обычно так не делают – они

от своего корня не отрываются. Но у меня что-то с родо-
словной туманно. Я как-то случайно

наткнулся на медицинскую карточку моей мамы, а у неё,
оказывается, ещё в детстве на снарядах

такая травма произошла, что о детях и речи быть не могло.
А откуда я на самом деле вылупился –

в цирке никто не выдаст.

– Покажите мне этот удар, – просит Роман.

– Только покажу, и всё. Больше ни о чём не проси, – пре-
дупреждает Махонин.

Прапорщик мажет мелом кулаки, становится против бок-
сёрской груши.

– Смотри внимательно.

Увиденное уже не забыть никогда. Раздаётся щелчок, а на
чёрном брезенте уже две белые

отметины. Махонин же, как стоял неподвижно возле гру-
ши, так и стоит. Потом слегка поводит

руками, расслабляясь, шевелит жёсткими, сухими плеча-
ми и отходит в сторону.

– Как видишь, – комментирует он, – было два нехилых
удара.

– Вижу, но я не видел, – отвечает потрясённый Роман.

– Это и есть «Щелчок волшебника». Тут он даже двойной,
а вообще для того, чтобы потрясти
противника, хватит и одного.

И тут Роман понимает, что он сделает всё, чтобы обяза-

тельно освоить этот приём. Целый месяц

изо дня в день он ходит потом за Махониным, напрашиваясь в ученики.

– Зачем тебе это? – спрашивает прапорщик, кажется, уже жалея о своей откровенности.

8

– Потому что это красиво выглядит и красиво называется.

– Ага, – как-то даже злорадно усмехнувшись, говорит Махонин куда-то в сторону, или воде как

докладывая кому-то, – наша рыбка сглотнула наживку...

– Кроме того, – настаивает Роман, – я знаю, что я способен его освоить. И уже только поэтому

должен это сделать.

– О! – удивлённо оглянувшись, восклицает прапорщик. – Речь не мальчика, но мужа.

Убедительно, убедительно. Но ты ещё себя не проявил.

Если и раньше на занятиях по рукопашке более прилежного ученика, чем младший сержант

Мерцалов не было, то теперь нет и вовсе. Он терпит всё, отдаёт занятиям каждую свободную

минуту, если не читает свою сельхозлитературу. Он готов как угодно услужить прапорщику, лишь

бы тот сдался. Самостоятельные занятия ничего не дают – что-то он делает не так. Странная

задача – научиться тому, чего будто и нет. Это до какого же совершенства и простоты нужно

оттачивать что-то, чтобы оно стало невидимым?! Однажды прапорщик застаёт его за тренировкой, наблюдает и не удерживается, чтобы не указать на одну очевидную ошибку. С того всё и начинается.

– Ты меня просто достал, – признаётся Махонин.

Их занятий никто не видит, а если и видит, то не много в них понимает. Собственно, прапору и самому нужен напарник для тренировок.

– Знаешь, Справедливый, – признаётся он как-то, – тоскливо мне здесь. Но ждать уже не долго – скоро снова по самые ноздри вчухаюсь в настоящую жизнь.

И, говоря это, он кивает в сторону той пыльной страны, границу с которой они охраняют.

– И всё же, – говорит он однажды, – это не тренировки, а так – баловство. Без контактного боя ты не боец. Вкус боя – это вкус крови, в том числе и собственной.

– Так давайте, – тут же соглашается Роман.

– А не боишься?

– Боюсь. Но если надо, значит надо.

– Прямо сейчас?

– Ну, как говорит мой отец, чего тянуть с хорошим делом?

– Молоде-ец... Это правильно. Лучше всего – когда не раздумывая. Это хороший принцип:

думать в жизни надо всегда, однако в некоторые моменты выгодней не думать.

Они становятся друг против друга. Стояли так уже не раз. Так, да не так. Вот он перед тобой –

человек, способный убить голыми руками. Что ж, тем это и интересно. Махонин ростом лишь чуть-чуть пониже, с тонкими, быстрыми мышцами.

– Если хочешь доставить мне удовольствие, – спокойно произносит прапорщик и вдруг с

нарастанием кричит, – то нападай по-настоящему! Как в бою! Убей меня! Убей! Приказываю – убей!

Заводя его, Махонин делает обманное движение, слегка бьёт в ухо – такой слабый, но обидный,

оскорбительный шлепок, от которого звенит в голове. И включение происходит. Роман знает – не

понятно откуда, но знает, как войти в особое боевое состояние, когда жизнь становится на грани. В

этом состоянии бешенство чётко дозируется с точностью мысли и мгновенной реакцией. Убью! Он

бросается вперёд, нанося удары быстро и точно, как научен. Но всюду лишь воздух. Прапорщик

здесь, и его нет. А если в опережение? Так, как ещё не делал. Если бить не туда, где он есть, а

туда, где, по предположению, сейчас будет? И удар впервые достигает цели. Хороший удар,

который чувствуется жёстко и приятно, всем кулаком. Ну,

держись!

Но на этом всё и кончается. В ответ тут же прилетает что-то невероятно тяжёлое, от чего на

мгновение встряхивает свет. А потом – целая серия ударов, под градом которых кажется, будто

твой черепок – это тонкая спичечная коробушка, которую хлещут щелчками жёстких пальцев.

Бой продолжается не более двух минут. Роман, скрючившись, лежит на полу. От удара в

солнечное сплетение невозможно дышать. Из рта течёт кровь. Да уж, вкус крови есть – она

солёная. Прапорщик, склонившись, сидит возле него.

– Ну-ка, ну-ка, взгляни на меня, – просит он, – всё целое?

Он ощупывает его челюсть – слава Богу, всё нормально.

Потом, сидя в сторонке, ожидает, пока

ученик отойдёт. Роман становится на карачки, через минуту садится, тряся очумелой головой.

– Ну и как? – спрашивает Махонин.

– Кайф, – шепеляво отвечает Справедливый, почти счастливо улыбаясь разбитыми губами и

выталкивая изо рта сгусток крови.

– Молоток, – усмехнувшись, говорит Махонин, тоже сплёвывая сукровицу, – и меня порадовал.

Достал ведь всё же разок. Ну, ничего, полезно иногда приятные воспоминания освежать. Я хотел

просто вымотать тебя, сделать всё так, будто ты машешься

с тенью, а потом нос разбить и на этом закончить. Но когда ты меня зацепил, то я понял, что тебя пора успокаивать, а то и впрямь утрамбуешь меня. Более того, признаюсь, дружок, ты оказался мне всерьёз опасным. У тебя есть неплохое качество. Хорошо, когда реакция, как голые нервы, но у тебя вообще нечто другое. Ты реагируешь не после факта, а до него. Я вдруг обнаружил, что ты меня обгоняешь. Запусти я чуть-чуть ситуацию, и ведущим стал бы ты. И мне показалось лежать перед тобой с расквашенной

9

мордой, а то и, хуже того, убитым, как я тебе приказал – совсем уж не по статусу. А ты бы мог, я видел – мог. Почему мог? Да потому что твой внутренний зверь – это монстр. Тебя поддерживает что-то очень мощное. Ты просто демон какой-то! Мой зверь перед ним – комар, хотя так низко оценивать себя бойцу не позволительно – собственную психологию надо уважать. Я уложил тебя сейчас лишь мастерством и опытом. То есть, по большому-то счёту, я, можно сказать, проиграл. Ты думаешь, мне, мастеру, легко сейчас признаться в этом тебе – сосунку? Но я понимаю, что такое честь, что такое талант, и ложного вида делать не хочу. Роман, всё ещё трясся головой, чтобы прогнать туман из

неё, не верит тому, что слышит.

– Другое твоё достоинство, – продолжает Махонин, – в полном отсутствии авторитетов. Другим

это вдалбливать надо, а тебе изначально дано. Это чувство в каждом сидит, через него ещё

переступить надо. У твоих сотоварищей надо сначала с полянки души все ромашки да незабудочки

повыщипывать – всё толстым слоем дёрна зарощено, фиг докопаешься, а у тебя (несмотря на

твою тягу к агрономии) весь этот дёрн одним дуновением срывает. Срывает так, что под ним один

чёрный душевный кариес остаётся. Ты пошёл на меня так, будто я вообще никто: конкретно на

поражение – убить это ничтожество, и всё. Почти все методы психофизической подготовки бойцов

строятся на способности раскрыть свою бездну и пустоту, выпустить наружу своего внутреннего

зверя. Твоего же зверя дровичить не надо, – он сразу готов, и даже с перебором. Эта внутренняя

энергетическая пустота в тебе совсем рядом – только ковырни. Длины штыка сапёрной лопатки

хватит. Такое ощущение, будто ты изначально весь на бездне стоишь. Уж не знаю, отчего это так,

да только так оно и есть.

Некоторое время они сидят, переваривая слышанное и сказанное. Роман считал, что в

прапорщике много внутренней темноты, а прапорщик говорит сейчас, что в нём самом этой темноты ещё больше. Странно...

– Скоро мне разрешат свою команду формировать, и я взял бы тебя в неё, несмотря на твою молодость, – продолжает Махонин. – Пожалуй, ты занимал бы у меня самое почётное место.

Всегда впереди, как Пересвет в битве на поле Куликовом. Твоё новое прозвище было бы «Пересвет» (я люблю романтику), хотя и Справедливый неплохо. Ты до армии нигде не занимался?

– Где мне заниматься? Просто мой отец по молодости был в деревне первым драчуном. Ростом он низенький, но с ним и большие мужики не связывались. Этот большой только замахнётся, а у самого уже вся сопатка в кровищи. Я видел один раз – сам удивился. Ну, и меня отец наставил чуток, дал несколько уроков. А больше ничего.

– А способному большего и не надо. В способном, как в хорошей пашне, прорастают и хилые семена.

Однажды, наблюдая за его тренировкой, Махонин выдаёт длинное задумчивое рассуждение:

– Мой великий учитель, помогавший мне постигать мудрость боя, говорил, что в восточных

единоборствах не случайно такое разнообразие стилей с подражанием животным. Каждый человек индивидуален, каждый чем-то похож на того или иного животного. Он считал, что каждому из нас следует проявить собственный, неповторимый стиль, даже без оглядки на то готовое, что уже есть.

Я тогда удивлялся, как удаётся ему в новичке сразу разглядеть индивидуальность, а вот сейчас, наблюдая за тобой, понимаю, что в великом бойце этот стиль проявляется сам – не заметить его нельзя. Так вот, название твоего стиля – «Тающий Кот». Это выдают все твои движения, все твои повадки. Тебе должно быть свойственно мгновенно, но мягко проявляться, наносить удары и тут же становиться невидимкой, таять. Вот какой образ тебе следовало бы шлифовать.

– Вы сказали «великий боец». Это про кого? – не поняв, спрашивает Роман.

– Про тебя. Но про того, каким ты мог бы быть в перспективе. Однако, как видится мне, ты им не станешь. Твоё поле борьбы иное.

– Какое же? – удивлённо спрашивает Роман.

– Вся жизнь. С ней-то ты и будешь махаться. Но кулаками её не взять, и всей нашей наукой – тоже. Вряд ли твой Путь бойца (если назвать его так громко) станет успешным. Только этого уже не

предотвратишь и тебя уже не повернёшь. Ты, Рома, по натуре авантюрист и флибустьер. Ну, не такой, конечно, авантюрист, как например, Остап Бендер. Ты, скажем так, положительный авантюрист. Сама жизнь заставит тебя им быть. Потому что жизнь наша слишком уж затхлая. Мы ведь почему воюем-то? – говорит он, опять же кивнув в сторону границы. – Да для того, чтобы хоть встряхнуться немного, застоявшийся воздух их лёгких выпустить...

Непонятные вещи говорит прапорщик. Непонятные, как всякие пророчества. Роман, конечно, и сам видит, что это армейское умение мало связано с его главными целями жизни – ну, разве что где-то потом за себя постоять. Не более того. Просто есть какая-то внутренняя тяга, и он ей не перечит. А лучше бы сажать в жизни другие семена. Настоящим его делом будет своё село, земля, пашня. Задевают его как-то слова прапорщика о его тонком духовном слое, которое он с зелёным дёрном сравнил. Вот он и будет его наращивать в себе самым духовным, что есть в жизни – работой на земле.

Пустыня, хоть и имеет, конечно же, какую-то собственную жизнь, но ведь если её сравнивать с

нормальной землёй, тоже похожа на бездну. Вот если бы всю пустыню планеты плодородной почвой одеть! Да ведь на такой богатой земле уже никакие границы, армии и войны не потребовались бы. Странно, что почему-то главные запасы нефти находятся там, где жизни меньше всего: пустыня, тундра... Почему-то органика ушла внутрь в этих местах. А вот если бы произвести с этой нефтью нечто обратное, превратив её в почву! Это было бы куда полезнее, чем перегонять её в бензин и солярку, заливая потом баки танков и других военных машин. Но всё это, конечно, мечты и фантазии, которые Люба, например, слушает теперь, с удивлением вытаращив свои замечательные глаза.

Короче, дома ему предстоит немало. И кандидатом в члены партии на последнем году службы он становится в соответствии со своими первыми преобразовательными планами в селе, постепенно выработанными в переписке с другом.

– Как? – удивившись, перебивает его Люба. – Ты станешь членом Коммунистической партии?

Ты? Такой молодой? А Витя, конечно, тоже?

– Нет, у него какие-то другие планы. А я хочу вступить потому, что мне хочется как-то посерьёзней, что ли, относиться к жизни. Чтобы иметь ка-

кой-то вес.

– А Витя, выходит, не хочет его иметь?

– Знаешь, не могу тебе врать, – с неловкостью признаётся Роман, – но когда у нас на собрании комсомольской организации обсуждали его как кандидата в члены партии, я сам проголосовал против.

– Против? Но вы же друзья!

– Потому-то я и должен был поступить честно. Я прямо и открыто говорил ему обо всём до собрания, сказал и на собрании. Раньше он всё время заявлял, что партийным просто легче жить, легче квартиру получить, легче в институт поступить и всё такое. Мы с ним много об этом спорили.

Как же я мог голосовать «за»?

– Именно потому он и называет тебя Справедливым?

– Наверное, и за это тоже. И если уж называет, значит, и сам понимает, что я прав. А если честно, то я теперь и сам толком не знаю – правильно ли поступил? С одной стороны, как друга его надо было поддержать, но, с другой стороны, и против себя я пойти не мог. Знаешь, в Витке для этого не хватает полной чистоты, в нём есть вроде как небольшой дымный фильтр.

– Понятно, – почти с обидой говорит Люба, – он что же, по-твоему, карьерист?

– Да что ты! – спохватывается Роман. – Не думай так о нём! Он замечательный парень. Просто не всё ещё обдумал достаточно хорошо. Ну, не накопил он пока ещё в себе серьёзности для больших дел. А ведь нам без них нельзя. Вот, например, ты никогда не задумывалась о том, как здорово повезло нам, что мы родились именно в Советском Союзе?

– Да-да, конечно! – подхватывает Люба. – Как-то представила, что я родилась где-нибудь в

Америке, так мне аж дурно стало! Я подумала: ну за что же так посчастливилось мне? Я вообще очень жизнь люблю. Работу свою люблю. Едешь вот так в поезде по стране, и она такая большая, такая красивая!

– Ну, так вот, если уж нам так повезло, значит, нам надо как-то соответствовать всему. Если

подумать, так ведь другим-то людям, которые родились в той же Америке, повезло куда меньше.

Разве можно быть там такими же счастливыми, как у нас? Ну вот чем им там гордиться?

– Не знаю, может быть, они гордятся чем-нибудь своим? Ну а что ещё им остаётся, чтобы не чувствовать себя совсем несчастными?

– Так вот я и говорю, что если мы в такой стране родились, так, значит, с нас и спрос боольший.

– А зачем тебе нужен этот вес, который придаёт партийность?

Объяснить это оказывается непросто. Конечно же, вес нужен для того, чтобы сделать потом что-

нибудь путное. Вот тут-то Серёга лучше бы объяснил. На заставе было и такое мнение, что служба

– это, в общем-то, потерянное время. Роман, чётко осознавая свои внутренние перемены, с этим

не соглашался, но если свои перемены сравнить с переменами Серёгиной жизни, то тот ушагал

куда дальше. Серёга уже накануне того, чтобы стать нужным специалистом, уж не говоря о том,

что успел даже жениться, то есть, куда основательней укорениться в жизни. Правда, у Серёги

другая беда – у него спиваются родители. Может быть, потому-то в последние полгода его интерес

к делам в родной Пылёвке уже не тот. И всё равно его жизненная позиция куда прочнее. А тут что?

«Кто я? – спрашивает себя Роман, – Да никто. Просто дембель, да и всё. А ведь надо же как-то

действовать, как-то реализовывать себя. Знать бы только как». Стремление есть, но какое-то

«тупое», не отточенное. Ну да ничего – вернётся, посмотрится, а там видно будет, с какого конца

подступиться к своим планам.

– А знаешь, – подумав, говорит Роман, – всё-таки мне луч-

ше, чем другим. Я знаю своё дело. А

другие ведь даже не задумываются об этом. Правда, им моя цель кажется глупой – жить в

деревне, что-то там делать, что-то улучшать. Но ведь всё это так здорово! А ты знаешь главное

дело своей жизни?

– К сожалению, нет, – вздохнув, отвечает Люба. – Ты прав – основной массе людей не до этого.

Я жутко завидую таким, как ты. Хотела бы я знать своё дело, да не знаю.

11

– Но ведь это же принципиальная разница! – с волнением говорит Роман, видя вдруг в ней ещё

и единомышленницу, – главное, что это желание есть. А если оно есть, то решение найдётся.

– Как сказать... Многие люди мучаются этим всю жизнь, да так и не определяют. Знаешь, о

чём я подумала? Вот смотришь старые фильмы, особенно про революцию, про стройки

социализма и видишь: тогда все знали, что делать. Я недавно перечитала «Тихий Дон» Шолохова,

так там и красные знают, что делать, и белые тоже. Правда, главный герой мечется из стороны в

сторону, но ведь его метания тоже вроде как определены – он ищет истину. Нам ещё учительница в

школе сказала, что вся мощь этого романа в том и состоит,

что там с разных сторон схлёстываются

такие невероятные силы, что искры летят и кровь рекой. Да нам-то ещё ничего. У нас и стройки разные есть: БАМ и та же целина. А как, например, в Америке? Там же вообще сон и полный разброд.

Роман смотрит на неё даже чуть озадаченно. Как она рассуждает! А ведь с Витькой-то она так

не поговорит. Тот совсем другой. Удивительно, что Люба даёт хорошую пищу для размышлений. С

ней можно говорить и говорить. Как точно она заметила, что раньше люди знали свой путь, потому

что находились в едином порыве. А в этом порыве, наверное дышалось, как на свободном ветру –

глубоко и спокойно. Хорошо, наверное, жить в таком времени. Жалко, что он-то «Тихий Дон»

пробежал наскоро и мимолетом, между катанием на лыжах с горы и работой во дворе у коров. Но

теперь его стоит перечитать. А если бы во время этого перечтения Люба была рядом, чтобы можно

было обсуждать ...

– А вот скажи, – спрашивает она между тем, – ты в армии о чём мечтал больше всего?

– Честно?

– Ну конечно.

– Я мечтал о том, чтобы после службы не быть одному.

Ну, не о родителях я, конечно, говорю...

Вот приходишь домой после работы, а тебя там кто-то ждёт, встречает. Всё равно как вторая твоя

половина. Про половинки – это очень правильно сказано.

И этот человек живёт примерно так же,

как ты, и интересы у него такие же. А ночью, например, тебе не спится, так пошёл на кухню чай

пить, и она тоже выходит, садится рядом, и мы о чём-нибудь с ней говорим. Я очень настроен на

такую жизнь. Но ведь всё зависит не только от меня. Ведь со всякой-то девушкой такая жизнь не

получится.

– Конечно, нет, – улыбаясь, соглашается она, и Роману понятна её улыбка – Люба думает

теперь, конечно же, о Витьке, по сути-то совсем не зная его.

Из уюта купе не хочется уходить. Вагон, мягко покачиваясь, несётся куда-то и, как чудится, не по

железу, а плавно и нескоро парит по воздуху. Эх, жизнь...

Да чего же с ней воевать-то, с такой

жизнью? Нет, что-то не то предсказывал прапорщик Махонин. В неё надо влиться всеми фибрами

души и просто жить... А ведь совсем скоро надо уже выходить.

Поддавшись его исповедальному настрою, рассказывает о себе и Люба. Оказывается, она тоже

из села! Какое радостное и одновременно горькое открытие. Они вспоминают о том, как гуляют в сёлах на праздниках. И тут всплывает много забавных и трогательных, особенно для стосковавшегося Романа, мелочей. Оказывается, и песни на гулянках в их сёлах поют одни и те же.

В армии эти песни вспоминались Роману сами собой, и он вроде как с опозданием полюбил их.

Иногда напевал некоторые куплеты вполголоса, а тот же Витька посмеивался: чего, мол, старьё какое-то поёшь? А вот у Любы при разговоре об этих песнях растроганно блестят глаза.

– Ну, а вот это у вас поют? – взволнованно спрашивает Роман. – Ну, помнишь: «...Как у нас голова бесшабашная – застрелился чужой человек...»

– Поют, поют. «Меж высоких хлебов затерялся» – так она начинается. Это на стихи Некрасова.

– Да-да-да, – радостно кивает Роман, – а дальше, дальше...

Люба тихим голосом напевает первый куплет. Роман, вздохнув, смотрит в окно, растревоженный до слёз: песня эта, слышимая с малых лет, кажется, напоминает сразу всё детство. И девушка, невольно подсказавшая это многое, ощущается совсем близкой, уже просто родной. Непонятно как, но по одному лишь напетому куплету Роман понима-

ет её всю. Он ясно видит Любу поющей в компании родных, с детства знакомых женщин: это и мама, и тётка, и соседки. И уже нет никакого двухлетнего разделяющего тумана между собой и родными: Люба связывает его со всеми и сама она среди его родных самая главная, самая родная. Никогда не задумываясь над словами «жить душа в душу», Роман впервые вспоминает их и постигает до самого дна: вот именно так – душа в душу – они и могли бы жить... Да только что теперь!? Как это всё неправильно, несправедливо! Уж кого-кого, а Витьку-то он знает: сколько вместе протопали и проехали по пескам, сколько пота вместе пролили. Хороший и добрый он человек, да другой. Вот такими близкими они с Любой не станут. Но скажи ей сейчас об этом, и она не поймёт. Не поймёт уже потому, что он идёт против друга. Счастливый Витька уже сутки в своём белом городе Златоусте. И без него этого говорить нельзя. Да и Любе своего чувства уже не переменить. Чистота исчезнет. В их неожиданном прозрачном хрустальном треугольнике никто не имеет права на червоточинку. С этим щемящим, противоречивым чувством и говорит потом Роман до самого утра, пока не заканчивается дежурство Любы.

– Как хорошо, откровенно мы с тобой поговорили, – признаётся она. – Ты какой-то особенный.

Легко с тобой. Вообще это что-то странное: не было путных ребят, да вдруг сразу двое. Вас как подобрали.

Роман смотрит на неё и затаенно мучается: что же делать, ведь всё это так и кончится... Да,

видно, так кончиться и должно. Уже уходя, он останавливается на пороге, смотрит Любе в глаза. За

всё время разговора боялся так смотреть, а теперь чего уже терять? Взглянул, и оторваться нет

сил. От их встретившихся взглядов всё в нём дрожит и закипает. Право, которое он ещё имеет –

всё необходимое сказать ей взглядом, потому что это ведь уже не разговор, а откровение в самом чистом виде.

– Какой же я осёл, – с трудом проговаривает он.

– Не нужно об этом теперь, – останавливает Люба. – Опоздал ты. Совсем немного опоздал. Я

слово дала.

Романа и вовсе бросает в жар оттого, что она понимает всё точно так же, как он. И о слове,

данном Витьке, она напоминает без сожаления. Просто так есть, так решено – с этого не свернёшь.

И даже от этой верности другому она кажется ещё ближе.

Роман чуть было не делает шаг к ней, но она вовремя и просто останавливает его:

– Ну всё, иди...

Роман продолжает стоять.

– Не надо, Роман, – говорит Люба. – Тебе проще, чем другим. Ты своё найдёшь. Ты счастливый человек, ты знаешь, чего хочешь. Таких людей мало.

И всё. Дверь, задвинувшись, мягко защёлкивается на крошечный алюминиевый крючок.

Длинный коридор тихо и ласково покачивает, будто пытаясь успокоить. Пахнет пеплом из титана, в

котором с утра снова начнут кипятить чай. А его уже не будет здесь. Глупо стучаться в дверь или

что-то говорить. Совершенно очевидно, что это были её последние слова. Именно так они и

прозвучали, как какой-то вывод, как напутствие.

...Над станцией гремит гроза. А деваться некуда – надо идти. Стоянка две минуты. Вода в

лужах на земле пупырчатая, как серебристая свиная кожа.

В тамбуре Романа провожает Наташа.

Почему она всё время, пока продолжалось это сватовство, смотрела на них грустно?

Роман спрыгивает в шумный большой душ на галечник своей станции, чуть ли не на лету ловя

слетевшую фуражку. Поворачивается, смотрит на вагон.

Люба, кивнув за стеклом своего купе,

лишь прощально мимолётно улыбается еле заметным движением красивых губ. Но лицо её размыто дождём...

Роман убегает в маленькое здание станции, обессиленно плюхается на изрезанное ножами

сиденье и долго сидит, придерживая дыхание и боясь самого себя, боясь, что выбежит сейчас и

бросится в вагон, стоящий последние секунды. «Да, да, да, ведь это я, именно я настоял на этом

поезде, – думает он, – я как будто знал, как будто знал».

Поезд, лязгнув суставами и скрипнув

каким-то одним колесом, трогается с места, а потом всё быстрее и быстрее стучит на стыках.

Стучит и дразнит засевшими в голове словами: «Как знал, как знал, как знал...»

Если бы не гроза, то на вокзал можно бы и не заходить, идти-то надо на автобусную остановку,

но Роман прячет себя здесь до тех пор, пока его скорый не уходит со станции, не затихает вдали.

На кафельном полу из коричневых плиток и на большой скамейке, выгнутой из листа толстой

фанеры, лужи натёкшей воды. В пустом и прохладном здании тихо: слышится лишь перескок

минутной стрелки больших, круглых часов на стене. Зачем он сидит в этой прохладной пустоте?

Теперь он, можно сказать, дома. Он чувствует себя оди-

ноким и умудрённым. Позади две
жизненные эпохи: одна – длиной в два года, другая – в три
дня. Эта последняя, стремительная
эпоха, начавшись на одном вокзале, закончилась на дру-
гом. Мощно прогремев, прогрохотав,
уложившись в три дня, она умчалась дальше по сверкаю-
щему железу, а он, оглушённый и
растерянный, – здесь. Дорога – это всегда то, что соеди-
няет какие-то важные места и события. В
дороге ты всегда находишься, казалось бы, в точке наи-
большей неопределённости. А у него иначе.

Именно сама эта дорога становится мощным, значитель-
ным обретением, дающим
необыкновенную личную весомость. Неужели же после
этого впереди ещё есть какая-то жизнь? *1

ГЛАВА ВТОРАЯ

Слеза

Про Марусю и Михаила Мерцаловых кто-то однажды без-
злобно съязвил, что детей у них нет
только потому, что от таких разных пород, как они, дети
не завязываются. Дородная полнота
Маруси необъятна: другой такой женщины в Пылёвке нет.
Она белая, широкая, прямо-таки
рассыпчатая. Михаил же, напротив, чёрный, сухой, стяну-
тый жилами – этакий цыганистый тип
отчаянного русского мужика. Его прозвище – Огарыш. В

молодости он слыл вёртким отчаянным

драчуном и за свою Марусечку, как часто называет он её, — добрейшую, ласковую душу,

13

расхлестал немало зубов и носов её ухажёров. Во всех случаях неосторожного посягательства на

Марусечку со стороны Огарыш как-то не особо вникал в тонкости: уместно тут драться или не

уместно, надо бить или не надо, сильный перед ним соперник или нет, а просто всегда без лишних

рассуждений бил и дрался. А уж потом разбирался. Или разбирались с ним.

Так и не перемешавшись в детях, они за долгую жизнь вместе, кажется, и характерами не

перемешались: живут крикливо, ругаясь иной раз так, что хоть святых выноси. Однако вся эта

ругань для обоих как с гуся вода, они и сами не знают, что это ссорой называется.

Маруся работает уборщицей в клубе, и для всех остаётся загадкой, как ей, при её-то габаритах,

удаётся без всякой швабры-лентяйки чисто-начисто промывать громадный клубный пол. Более же

всего Маруся знаменита не только в Пылёвке, но и во всей округе знахарством: лечит травами,

правит головы, вправляет кости, ладит воду: что-то шепчет там в бутылку за печкой или, как

пошучивает Огарыш, матерится прямо в воду, так что против такого концентрированного лекарства

любая болезнь пустяк – «надо только пробку потуже за-
тыкать». В дополнение к этому, Маруся ещё

привораживает и предсказывает судьбу по воску, по снам
и по приметам. Дом их напоминает

проходной двор, так что громадные цепняки, к которым
имеет пристрастие Огарыш, по его словам,

«исшалавливаются»: не различая чужих и своих, привет-
ливо виляют хвостами всем подряд.

На лечение, на предсказания, на ворожбу уходят считан-
ные минуты, а всё остальное время

занимают разговоры и чай с вареньем. Иной раз Маруся
не успевает чашки сполоснуть после

одних гостей, как на пороге – другие. Вот и похудей...
Огарыш иногда ворчит на поток посетителей,

но не совсем принципиально: всё скрашивается тем, что
иногда вместо подарков (которые для

авторитета знахарки просто необходимы) кое-кто прихва-
тывает и бутылочку горькой. Лечение идёт

тогда веселее, и судьба, если кому сегодня требуется, вы-
падает напротив не такой горькой.

Известно же: как скажет гадалка, так всё и сложится...

Вся знахарская деятельность Маруси началась как раз с
желания ребёнка. У каких только

врачей она ни побывала, прежде чем зачастить к бабушке

Паше, одинокой старухе, которая жила в
маленькой избушке на самой околице и умела ладить во-
ду. Старуха была такой старой, что даже
пережила всех своих детей. Неизвестной для неё остава-
лась лишь судьба младшего сына,
который не то забыл про мать и родину, не то сгинул где-
то. А внуки запомнили о ней уже,
кажется, оттого, что жили вдалеке: слишком уж накладно
ездить за тыщи вёрст к единственной
родственнице – старухе. Кажется, только неизвестность с
младшим сыном и держала бабу Пашу
на этом свете. Маруся, придя к ней впервые и увидев, как
та возится с полами, тут же отобрала у
неё тряпку. После Маруся стала помогать ей и в стирке, и
в побелке и, в конце концов, вроде как и
вовсе взяла на попечение. Умерла баба Паша в девяносто
шесть лет, так и не дождавшись своего
младшего. Да и чем бы он утешил её, уже старей? Жизнь
бабы Паши была уже изжита до
безнадёжности, до спокойного неверия во всё.
Вскоре после её тихих похорон по селу разошёлся слух,
будто всё умение знахарки теперь
наследует Маруся. Маруся для этого, конечно, слишком
молода, но в неё верят сразу: людям куда
важнее знать, что ничего не пропало, чем не доверять её
молодости.

Смысла многих перенятых от бабушки Паши наговоров новая знахарка не понимает, впрочем,

как не понимала их и сама старуха, передавая всё в том же виде, в каком когда-то приняла сама.

Тут требуется не понимание, а вера, что если то-то и то-то говорить именно так и в такой

последовательности, то это будет иметь такое-то действие. Тут, возможно, и действие-то

рождается от самой необъяснимости. Если для человека имеют силу травы и смеси трав, то

почему этой силы не могут иметь слова и словесные смеси? Для Маруси это становится

совершенно очевидной истиной, и кто её может в этом разубедить? Любопытные, бывало, пытаются

Огарыша о том, как такое может быть, но тот, поскрёбывая голову, только и отвечает: «Да кто его знат – вроде ерунда, а помогают. .»

Самой же себе Маруся помочь не может, утешаясь теперь тем распространённым мнением, что

так, мол, бывает с каждым, кто берёт на себя боли и недуги других. Так что, оказывается, и с

бездетностью можно, в конце концов, смириться, если придать ей некий смысл. И тут-то, уже при

этом необычно достигнутом спокойствии, у Маруси вдруг появляется ребёнок! Достается он ей,

конечно, как и все дети, от Бога, но только не через себя.

Её молоденькая двоюродная племянница

Алка, выпорхнув после десятого класса в город учиться на штукатуру, через год возвращается беременной. Впрочем, «возвращается» – это мягко сказать.

Вначале, ещё в городе, Алка пытается всеми способами освободиться от ребёнка (советчиц в общежитии хоть отбавляй): горстями ест таблетки, пьёт водку, в городской бане парится, подтягивается на турнике. Ничего не берёт. Ребёнок уходить не хочет. И уже, как видно, не уйдёт.

Тогда наступает очередь другим советам:

– Как родишь, так сразу и отказывайся от него. Но главное – не смотри на него, иначе всё – не выдержишь. Нет, мол, его, и всё. И что там унесли – не знаю. Хотя, можно и по-другому... Ты, главное, на учёт не вставай, чтоб никто про него не знал. Затягивайся, не показывай. Ты здоровая, деревенская – родишь и без больницы. Ну, а потом сама знаешь, куда его – не ты первая, не ты последняя. Зачем свою молодость губить?

14

Но в этом змеином сценарии, уже хорошо отработанном в общежитии, случается сбой. В город приезжает Николай, Алкин отец – надо же подсобить дочке продуктами: мясо там, сливочки –

мамка только вчера вечером просепарировала.

Так уж выходит, что и сбой этот начинается с Маруси. Накануне повстречав на улице Николая,

она стала расспрашивать о племяннице: что да как?

– В общежитии живёт? – качает головой Маруся. – Ох, и голодает, наверное, девка.

И Николаю её осуждающее качание головой западает в мысли как длинная горячая искра,

садится потом ужинать – пельмешки с перчиком ароматные да скользкие, а в горле застревают –

дочка-то в городе, наверное, и вправду вся исхудала. Давно уж съездить хотел, да всё дела какие-то, чёрт бы их побрал...

– Ну, вот что, мать, – говорит он жене, – собирай-ка харчишки. Завтра к Алке съезжу, погляжу, как она там.

В город приезжает после обеда, находит комнату на втором этаже, а дочка после занятий вся

как есть распоясанная, не затянутая, без всякой маскировки. Николай сначала балагурит: ну, мол,

девки, да как же вы тут без родителей-то обходитесь? Да вы тут без нас с голоду загнётесь. Счас

сливочками вас угощу... Да, удивлённо приглядываясь, видит уже, как они тут обходятся. И вся его

деревенская весёлость и балагурость осыпается, как листва.

– Понятно, – говорит он, растерянно плюхнувшись на стул и спустив мешок под ноги, – и на каком же месяце?

– На седьмом, – глухо, как в бочку, отвечает дочь.

– И чо же, доча, делать-то будем?

Алка молчит.

– Я тебя спрашиваю или, может, ещё кого?

Смотрит пронзительно на этих «кого», а они в дверь серыми мышками одна за другой – шмыг, шмыг, шмыг. Тут сейчас таких сливочек схлопочешь, что ещё неделю будет пучить и тошнить. Алка

же сопит и угрюмо смотрит куда-то вбок, как глупая тёлка.

И чем дольше она молчит, тем отцу это

дело всё ясней становится. Неладно тут всё, ох неладно.

Понаслышан уж, что они тут в таких

случаях вытворяют. Не думал только, что своя на такое способна. Понятно, что такая-то её

«учёба» – это позор на всю деревню, а если она ребёнка угробит, то и вовсе грех. И теперь уж не только её, если он тоже в курсе.

– Ну, вот что, сучка! – подводит Николай решительный итог. – Хватит уж, наштукатурилась!

Будешь дома стайку штукатурить и уборну в придачу!

Сколько Алка ни уливается слезами, сколько ни утирается соплями: она этих семи месяцев и

ждала – есть ещё один верный способ, как молодость не

сгубить, да отец непреклонен.

– Домой я сказал! Собирайся! Тебе говорю! Счас же собирайся! Хватить нюнить! Или я тебя сейчас ремнём по жопе-то отвожу!

Домой он притаскивает её едва не за волосы, ещё как-то умудрившись и напиться по дороге.

Однако общежитские инструкции крепко сидят в Алкиной голове. Ребёнка ей не надо. Ей ещё

хочется того единственного отыскать, от которого беременна. Когда расставались, он так и сказал.

Взял в ладони её лицо, посмотрел в глаза и куда-то прямо в душу прошептал: «Видишь, я не

обманываю. Ребёнок нам с тобой пока не нужен. Да и не будет с него толку. Он всё равно по пьянке

сделан. Когда всё уладишь, тогда меня и найдёшь». Ну, как ему не поверить? Тем более что он и

адрес свой сообщил. Далеко, правда, он живёт, в Тамбовской области, да только она и там его

отыщет.

То, о чём думает Маруся, увидев Алку в первый раз с животом, она боится потом вспоминать и

несёт на своей совести, как свинцовый груз. Кто знает, как её желание сказывается на другом

человеке? А вдруг именно оно, зависнув как-нибудь над Алкой, и определяет потом все её

дальнейшие шаги? Беда лишь в том, что прежде, чем ро-

дить в Пылёвском роддоме

семимесячного ребенка и отказаться от него, Алка испытывает все сто остальных способов, чтобы

вытравить его. Маруся, зная об этом, болеет сама. Она смотрит на Алку, оцепенев: как это

жестоко, что её ребенок, который пока ещё находится в распоряжении беспутной племянницы, так

беззащитен сейчас. Но помочь ему ничем нельзя.

Отказывается Алка от ребёнка легко. Если на него сразу не взглянуть, то и в самом деле можно

перетерпеть. Марусе же и гадать не надо, кому предназначается брошенное дитя. И в то время,

когда село ещё находится в состоянии шока от такого невиданного до того времени поступка, как

отказ от своего ребёнка, Маруся уже окрылена неслыханным поворотом своей жизни. Уж этой-то –

может быть последней – возможности она не потеряет! И что тут начинается потом! Ребёнка

забирают из больницы и приносят домой. Родной брат Маруси Тимофей подсказывает, что надо

срочно оформить все документы. И этот факт приводит в дрожь. Если это требуется оформить,

значит, ребенка могут и отнять. Тимофей, не переборов их страха, советует на время и вовсе

уехать из села. Господи, да как уехать-то?! Разгар зимы, середина января, а тут и куры, и корова, и

чушка, и сено в огороде, и дом, к которому строено-понастроено, да всё своими руками. Страшно, но надо всё продавать. Надо увязывать шмотки, увольняться, машину заказывать. «А ехать-то,

15

кстати, куда-а?!» – оторвавшись от этих сумбурных сборов, почти взывает ошарашенный драчун

Огарыш. И снова совет Тимофея: можно и не далеко, на какую-нибудь байкальскую станцию.

Говорят, там и дома дешёвы, и дорога – сутки поездом. Но зато там уже Бурятия. А что такое

Бурятия? Там что, законы другие? Да нет, те же, но всё же вроде чем-то понадёжней, потому что

Бурятия. Тьфу на тебя! Объяснил тоже! А ехать всё равно надо...

Наваливается всё это в основном на оглоушенного Михаила. Маруся же вроде как отключена –

не может оторвать от себя кутанного-перекутанного, слабого, недоношенного ребёнка. Слившись с

ним, она как сидит, так почти что сидя и спит. Огарыш долго помнит потом её такой сидящей,

прижимающей ребёнка к своей громадной бесполезной груди с бутылочкой искусственной смеси в

ладони. Пожалуй, ребёночек, эта кроха новой жизни, и сам ошеломлён той потрясающей и уже

неожиданной добротой, распахнувшейся здесь. В избе

уже всё сдвинуто, разворочено, расстроено.

Михаил с Тимофеем, со скрипом шкрябая о колоду, выволакивают в ограду на снежок шкаф с кривым, но зато зеркалом, комод, с окон скомкано, как при срочной эвакуации, сдирают тюлевые занавески.

Маруся не обращает внимания ни на что, не удивляется даже мусору, неизвестно откуда

взявшемуся на полу. Её назойливо мучит мысль, что это бегство, а если бегство, значит, есть и

вина. Совесть не принимает довода, что Алка сама не хотела ребёнка. Разве нельзя было её по-

родственному вразумить, просто вдохнуть в неё каплю своей жажды? Да ведь только не хотела

этого, не справилась с собой, успев наперёд присвоить ребёнка. Ещё в первую бессонную,

страшную от счастья ночь, она украдкой от мужа приближает свою грудь к чмокающему детскому

ротуку. Ребенок смолкает и тянет. Оказывается, вот оно какое, полное счастье! Но если какое-то

чудо и происходит в этот момент, так только в душе Маруси: молоко из неё всё равно не брызжет.

Ребенок откачивается головкой и, покраснев, кричит так, что Марусе хочется спрятать его куда-

нибудь вместе с его криком, потому что, отвергая её, он призывает ту, другую мать, с её молоком.

Михаил не замечает, что выносит, что двигает, что увязывает. Он прислушивается только к тому,

как жена каким-то изменившимся голосом разговаривает с ребёнком, называя его то «сыной», то

«Ромушкой». Огарышу кажется, что у него от этого «сыны» растворяется, рассасывается, уходит

куда-то в мятный эфир само сердце. Как всё это неожиданно: вот он вдруг и отец. Да отец ли? Если

Алка передумает и решит забрать, то уже не отец. Да где же эта машина, чёрт её побери, почему

её нет? Ни хрена работать не умеют! Грузиться надо поскорей, да уматывать!

Сына, сына, да, конечно, сына – как же ещё? Вот вырастет у них этот ребёнок, так не дядей же

станет его звать. Правда, этому не предшествовало ни зачатия, ни радости наблюдения за

беременностью жены, ни последней подготовки к ребёнку. Даже пелёнок и этих, как их называют,

подгузников, что ли, не приготовлено. И кровати нет. А ребёнок уже есть. Спасибо, что Маруся

почти что ещё в первые минуты не забыла спросить мужа об имени мальчика – должна же хоть

какая-то и его доля быть в малыше (её-то крови хоть немного, да есть). Михаил вздыхает, как-то

виновато задумывается и машет рукой, будто выдавая давно затаённое: «А, ладно, пусть уж

Ромкой будет». Теперь, когда, переворачивая ребёнка на разорванные на пелёнки простыни, жена

на мгновение оставляет его голеньким, Огарыш, испуганно вжав голову в плечи, отворачивается:

не может видеть это крохотное, такое чувствительное для него создание. Но с какой радостью

разворачивает его Маруся, как ей хочется быть необходимой, иметь хоть какую-то возможность

угодить этому светлому пришельцу. Уж тут-то она уверена: так, как перепеленает она, не

перепеленает никто. Во всяком случае, уж в этом-то она наравне, а может быть, и лучше всех

матерей.

И потом дорога на байкальскую станцию Выберино, где течёт стремительная река Ледяная:

сначала в тесной кабине газика с ребёнком на руках, с молочной смесью в термосе (смесь там

недолго хранится, да что делать?), потом ожидание в холодном вокзале (Михаил уезжает с вещами

на машине), потом сутки на поезде, потом, пока не рассмотрен и не куплен подходящий домик,

полмесяца в гостинице (в то время, как все необходимые вещи у какого-то случайного знакомого в

сарая).

Через три года жизни в Выберино от страхов остаются одни смутные опасения. Алка, убежав из

Пылёвки ещё вперед их отъезда, как в воду канула: за это время никому из родных ни строчки.

Ходят слухи, что уехала догонять мужика, который ребёнка ей заделал, и без которого она жить не может вообще. Понятно, что если она и объявится теперь, то вряд ли станет серьёзно на что-то претендовать.

Мерцаловы возвращаются в Пылёвку, покупают дом, правда, уже не такой хороший, как

раньше. Огарыш снова садится на трактор, а Маруся становится с тех пор бессменной техничкой в

клубе, развернув на дому свою знахарскую, ещё более самоотверженную деятельность, как и

прежде исцеляя чаще всего даже не травами, а участливой беседой, чаем, да самым главным

лекарством – добрейшей до слезливости душой.

Несмотря на все опасения и страхи, а также наперекор всем баням, турникам, водке и горьким

таблеткам, испытанным ещё в утробе, Ромка растёт живым и шустрым. В зиму, когда он учится уже

в третьем классе, Михаил собирается в райцентр за запчастями к мотоциклу, которые ему достал

16

городской знакомый. До тепла, до мотосезона, правда, ещё далековато, но Огарыш рассуждает

так, что уж если эти запчасти подвернулись, то полежат,

дождутся: есть-пить не просят. Но забрать

их надо побыстрее, мало ли куда они могут уплыть. Других дел в райцентре нет, и Михаил

подумывает даже вернуться домой на какой-нибудь попутке, не дожидаясь рейсового автобуса. Но

Маруся предлагает вдруг взять с собой Ромку и купить ему там новые валенки. Огарыш даже

крякает от досады. Хотя валенки-то у сынишки и в самом деле никудышные, подшитые уже столько

раз, что уж и сами только на подшивку годятся.

– Так я и на глазок эти валенки куплю, – ворчит Михаил, – возьму с запасом, да и всё. А чо

парня-то в город тащить?

– Да ты чо, на горбушке его повезёшь? Задавит он тебя? – повышает голос Маруся. – Пусть хоть

город поглядит. . У него же каникулы: так и так весь день по улице носится.

– Во-во, – на той же ноте подхватывает Михаил, – бегал бы помене, да пореже свой огород

топтал, так и валенки были бы целей...

Но про огород – это уж так, с усмешкой. Хорошо, что вспомнил про него, усмехнулся и оттого

согласился. Никак они не поймут, почему Ромка не терпит, чтобы в огороде снег нетронутым

лежал. Обычно в день, когда выпадает новый снежок, Ромка, вычистив глызы во дворах,

перетряхнув соломенную подстилку коровам, идёт в огород. Уходит к дальнему забору и начинает оттуда, будто строчкой за строчкой, вытаптывать весь снег. Зачем это делает, и сам не поймёт – вроде как в каком-то бездумном наваждении. Просто включается и, как какая-то маленькая машинка, утюжит и утюжит шагами белое пространство, будто не для себя даже, а чёрт знает для кого. Скрип, скрип, скрип, скрип – часами звонко поставляет белизна под его валенками. Если не управляется с ней за день, завершает на другой день. Огороды соседей обычно стоят целомудренно белыми, а у них всегда истоптанный. Так Ромка и на те огороды смотрит с неприязнью – была бы возможность, так и туда бы влез. Бывает, ляжет с ночи свежий снежок (утром по свету в комнате это сразу понятно), Ромка оттянет шторку на окне и вздохнёт: всё, опять работы на полдня. И не поймёшь, то ли радость это для него, то ли забота. Похоже на удовольствие, но только какое-то странное, непонятное, слишком глубинное. Если день где-нибудь на горке проносится, так приходит домой – и куфайчонка, и вся душа нараспашку. Сам весь раскрасневшийся, радостные сопли по щекам размазаны. А с вытоптанного огорода приходит, как

застёгнутый на все душевные пуговицы, будто кому-то что-то в отместку сделал, но это тоже радостно. Только как-то угрюмо радостно, если можно так сказать. В общем, странная это у него какая-то забота, непонятная.

Однажды утром, видя, как отчего-то беспокойно спит сынишка, Михаил подходит к нему и опять же шутит:

– Да спи ты, спи, чего ворочаешься? Снег сегодня не выпал.

И Ромка, к его удивлению, тут же поворачивается на другой бок и спокойно, сладко засыпает.

Автобус отправляется ещё до восхода, в темноте. На остановке, поджидая его, постукивают

ботинками и переминаются валенками несколько знакомых сельчан, которые здороваются с Мерцаловыми: старшим и младшим.

– Дорово, Огарыш!

– Дорово-дорово! Чо, автобус-то где?

Восход ожидается ярким, потому что небо чистое, а за ночь выпала небольшая пороша, от

которой воздух в это зимнее утро теплей и мягче. Ромке не стоитя на месте. Глядит он не только

вдоль улицы, как все, но и по всем сторонам, словно ожидая чего-то боольшего, чем просто автобус.

Автобус, показавшийся, наконец, в начале улицы, одно-

временно видят все, но Ромка ахает

первым, указывая рукой, а потом, пока тот приближается, светя матовыми фарами, всё

посматривает на отца, разделяя с ним славу первовестника. Подошедший автобус глохнет и,

словно освобожденный от затихнувшей в нём силы, катится было сам собой, упруго скрипя

шинами по снежку, но водитель надёргивает ручник, и машина замирает, тупо ткнувшись в своё

внутреннее препятствие. Дверь, застывшая за дорогу, лениво расклеивается, а Ромка уже первым

стоит около неё. «Надо будет, однако, приглядывать там за ним, а то шибко уж шустрый», –

отмечает для себя Огарыш.

Но вот все усаживаются, водитель втыкает скорость, и звук переключаемых шестерёнок

оказывается таким громким, словно его передали по динамикам через усилитель. Ромка, в

восторге от этого громкого звука, смотрит на отца, но, не прочитав на лице Михаила такого же

восторга, успокаивается.

Потом, когда автобус, то нудно, тяжело завывая, тащит себя вверх по очередному длинному

тягуну, то, словно сорвавшись, легко мчится вниз, оставляя позади клуб серой снежной пыли,

Михаил всё наблюдает за сыном, удивляясь его жадному

любопытству, с которым тот смотрит на
всё новые и новые виды в лобовом незамерзающем стекле,
или пытается рассмотреть что-то
сквозь глазок, протаянный дыханием на окне. Огарыш и
сам неожиданно для себя смотрит через
этот его волшебный глазок. Как раз в эти минуты над соп-
кой поднимается солнце, в которое,
возможно, от сегодняшней ночной пороши, будто добав-
лены белила, и солнце всходит плоским, но

17

мягким и молочно-розовым блином. «А ведь Ромка-то
едет тут впервые», – вдруг осознаёт

Огарыш, чувствуя теперь даже неловкость за свое ворча-
ние утром. Как будто сам не был таким,

будто сам валенок не драл. Тоже всё на лыжах да на лыжах
(эх, а лыжи-то были самодельными –

берёзовые, нынешние заводские куда лучше, наверное) и
летом тоже, как было нынче и с Ромкой,

всё на речке да на речке. Так что всё тут законно. Пусть
бегает, пока можно. Года через два это

само собой в другое русло перейдёт: сначала вместе с дру-
гой ребятней будет кислицу серпом на

полях вырубать или крапивные веники для колхозных жи-
вотин готовить, а там, через годок,

глядишь, и кошары чистить возьмётся... В колхозе иначе
и не бывает.

Дорога до города не длинна, но Ромку, несмотря на его оживлённость, укачивает. Прислонив

голову к отцовскому плечу, он пытается сонно смотреть вперёд. Всё, что находится далеко

впереди: заснеженные кусты, склон близкой сопки, обочина дороги – всё кажется неподвижным, но

ближе всё это неподвижное вдруг срывается, превращаясь вместе с дорогой в какой-то жидкий

поток, гулко всасываемый автобусом. Хорошо, тепло и уютно наблюдать за ним...

Михаил, почувствовав, как сын полностью расслабился, уйдя в сон, приобнимает его, чтобы он

не стукнулся о хромированную трубку впереди. На душе хорошо: завывающий автобус тащится на

склон, так что от мотора по автобусу идёт более густой поток тепла, а Ромка уютно сопит под

мышкой. «Ну да ничего, что едешь тут впервые, – размышляет Огарыш, – успеешь ещё,

наездишься, наглядишься на эту дорогу, жизнь-то у тебя длинная». Ромку он воспитывает

намеренно строго, стараясь ласками не осыпать и попусту не жалеть. Ведь если быть к нему более

ласковым, чем другие отцы к своим чадам, так Ромка потом когда-нибудь, когда ему всё откроется,

будет думать, что его специально жалели и задабривали, что ли... Теперь Огарышу даже странно,

что когда-то он намеренно пытался держать себя с ним так, «как будто это твой сын и есть».

Сейчас невозможно представить обратное: то, что это сын не его, тем более что давно уже

Огарыш замечает в Ромке свои привычки. Поначалу даже дивился этому, считая, что привычки

передаются только по крови, а вот, оказывается, и не только. Удивлялся он когда-то и

возникающему в себе чувству отцовства, полагая, что чувство это рождается от продолжения

крови, что отцовство завязывается самим зачатием, а для него, оказывается, и самого ребёнка

хватает. Впрочем, этим открытиям уже много лет – Огарышу давно уже привычно, что у него есть

сын. Сын да и сын: чего тут такого? Легко вздохнув, Михаил осторожно гладит Ромку. «А

пальтишко-то у него какое тоненькое – крылом пробьёшь... А худой-то он какой, худой-то! Все

рёбрышки можно пересчитать, – растроганно думает Огарыш, – ну да ничего, вырастет мужичок...

Глазом моргнуть не успеешь – вырастет. . Всё вроде бегал, мешался, ничего не понимал, а теперь

уж всё, можно сказать, настоящий человек получается... Потом в армию пойдёт. А вернётся скажет

– ну что, здорово, батяня!» Михаил Мерцалов ловит себя на том, что, пожалуй, впервые за всю

жизнь так спокойно и задумчиво предаётся каким-то, понимаешь ли, мечтам. И вообще удивительными кажутся ему эти минуты. Никогда ещё так близко не воспринимал он сына. Может быть, оттого, что никогда не сидел вот так, прижимая его к себе? А ведь сын-то – это опора, как ни говори, вот что ещё надо понимать. Раньше Ромка был вроде ближе к матери, но, видно, пора уже учить его мужскому уму-разуму. К тому же раньше, уж чего там скрывать, таилось в глубине души опасение, что всё-таки отыщется его родная мамка, да заберёт. Что, разве таких случаев не бывало? Но и эти опасения уже позади. «Да теперь-то я за него кому хошь глотку перегрызу», – думает Огарыш, невольно пристукнув жёстким кулаком по блестящей трубке впереди. Сама крепость этого кулака вдруг напоминает ему о драках в молодости: как славно наcostылял он однажды приезжему специалисту-спортсмену только за то, что тот с ухмылкой посмотрел на его невесту, стройную, чрезмерно фигуристую Марусечку. Его тогда ещё чуть на пятнадцать суток не посадили, шибко уж ценный был для колхоза тот специалист. «Надо обязательно его драться научить, по жизни это завсегда пригодится...» – с радостью и с какой-то дерзостью думает Огарыш

о сыне.

Ромка просыпается лишь в городе, когда пассажиры выходят из автобуса. Сладко зевнув, он собирается было потянуться, но, обнаружив себя не дома, тут же снова таращит свои удивлённые голубоватые глазёнки. Всё ему кажется удивительным: и громадные двухэтажные, а то и (ой, ой, ой) аж трёхэтажные каменные, незыблемые, как скалы, дома, и нездоровящиеся, чужие от этого, люди, и городская пороша, притаптываемая с крупинками угольной сажи, отчего в тесном городе всё-таки потемней, чем в их, распахнутой небу, Пылёвке. Да и сам воздух здесь пахнет той же сажей. А сколько окон в этом городе (мама моя!), правда, все окна как слепые: без ставен и наличников.

Да что там говорить, Ромка просто не успевает увидеть всего. Огарыш держит его за руку, чувствуя, как ладонь сына едва не выкручивается из пальцев. Теперь его чрезмерное любопытство даже раздражает, тем более что тут и самому надо ещё сообразить, как и куда идти.

Знакомого не оказывается дома. Дверь им не открывают. Тогда, озабоченно почесав затылок самой шапкой с завязанными наверх ушами, Михаил решает пойти за валенками в магазин.

Ох, и интересный это магазин! И, главное, совсем без прилавка: ходи – где хочешь и смотри – что поглянется. Другие, как замечает Ромка, не боятся и кое-что в руки брать: щупают, изучают.

18

Отец тоже снимает с полки валенки, проверяя толщину подошв и голяшек. Ромке даже неловко за него: чего тут проверять? В таком магазине, конечно же, всё хорошее. А отец осматривает вторые валенки, третьи... За ними с улыбкой наблюдает красивая и оттого как будто сердитая продавщица.

Ох, не заругалась бы она на них.

– Ну-ка, примерь вот эти, – говорит, наконец, Михаил.

Он усаживает Ромку на маленький стульчик, помогает снять старый валенок так, чтобы не размоталась портянка с травинками сена на ней, и надевает новый, чистый, аж иссиня-чёрный.

– А теперь встань, – приказывает он, прощупывая ногу через валенок жёсткими пальцами, – нигде не жмет?

Ну и пальцы, однако, у отца! Прямо через валенок продавливают! Только как он этот валенок может жать?! Он же такой мягкий, даже непривычный, не то, что старый, подшитый прогудроненной дратвой. Ромке хочется и второй надеть, но отец забирает оба валенка и отдаёт

продавщице. Ромка растерянно и обмануто смотрит: как это понять!?! Отец подходит к кассе, на два раза пересчитывает деньги и отдаёт продавщице. Потом, получив какую-то бумажку, выщелкнутую машинкой, только на эту бумажку покупает валенки. Чудно! Ромка, облегчённо вздохнув, забирает покупку у отца и несёт её сам. Вот это уж валенки так валенки, они ведь даже подмышки греют!

Но если бы это было всё! Идут они дальше по магазину, уже просто так поглазеть на всё, что попадётся, и натыкаются на отдел «Фотоаппараты». Фотоаппарат – это дальняя, самая большая в жизни, Ромкина мечта. Фотоаппарат есть только у одноклассника Серёжки Макарова, так тот даже посмотреть на него как следует не даёт. А тут – пожалуйста, смотри, сколько хочешь. Дома Ромка, случилось, и безнадёжно ныл из-за фотоаппарата, получая в ответ разные отговорки, отсылы, а то и несильные подзатыльники, если уж совсем надоедал.

Подходит Ромка к прилавку и словно прилипает к нему: чего там только нет! Стоит рассмотреть и кнопочки, и надписи прочитать, и представить, и помечтать. За всем этим он даже и не замечает странные скованные маневры отца, который вначале тоже стоит у прилавка, почёсывая затылок и

не понимая, почему же именно теперь-то, когда эти фотоаппараты перед глазами, Ромка не гундосит? А потом понимает: не смеет просить, потому что и новые валенки для него уже счастье – вроде как и хватит на сегодня. Крякнув, Огарыш отходит чуть в сторонку, вынимает из кармана деньги и принимается их пересчитывать, укладывая рубль к рублю, тройку к тройке.

Пересчитывает, вздыхает и снова кладёт в карман. Подходит к сыну, хочет взять за плечо, чтобы отвести, нерешительно останавливается, стоит, смотрит на него, чего-то неслышно прищёптывающего, снова вытаскивает деньги и пересчитывает ещё раз. Если бы ему требовалось просто посчитать деньги, то до шестнадцати рублей счёт не долгий, а тут ведь надо высчитать и то, что он скажет дома Марусечке и что ответит она, и вообще прикинуть, во что для них выльется вся эта покупка. И, думая так минут пять, Огарыш в конце концов производит гениальное математическое действие, разделив стоимость фотоаппарата «Смена» на стоимость бутылки водки. В результате выходит не такое уж великое их количество, которые он, хошь не хошь, а выглатывает. Вот если представить жене такую калькуляцию, так она в благодарность за его

проснувшуюся совесть (она бы так именно и сказала – «совесть») ещё и сама на бутылку даст.

Причём прямо сегодня, по причине их счастливого возвращения. Эти вычисления вдруг настолько смущают самого Огарыша, что не решиться на покупку он уже не может.

В тот момент, когда он протягивает Ромке его, уже собственный фотоаппарат, тот всё ещё стоит

и смотрит на недоступные чужие. Увидев же жёсткую картонную коробку с нарисованным на нём

главным предметом своей мечты, он просто немеет. В его глазах столько неверия, восторга и

счастья, что Огарышу становится не по себе. Запоздало он даже спохватывается, что уж не

слишком ли, и в самом деле, балует его? И потому, лишь дав Ромке подержать фотоаппарат в

руках, осторожно укладывает коробку в надёжный мешок.

Вот и всё, теперь Ромке этот магазин и не нужен вовсе.

Теперь тут уж и смотреть-то не на что. И

он уже никуда не бежит – теперь он как ручной, как приклеенный.

Они идут по улице, а когда проходят мимо столовой, Огарыш вдруг машет рукой: а, уж кутить –

так кутить! Давно ничего столовского не пробовали. Конечно, в городе всё дорого, но всё-таки они и

сюда завернут. Входят в столовую, сдают телогрейки –

большую и маленькую – в раздевалке с
крючкатыми вешалками, получив взамен алюминиевые
кружочки. Ромке хочется и кружочки эти
рассмотреть, но отец прячет их в карман пиджака. Потом,
расчесав свой чуб и чуб сына, усаживает
Ромку за стол, сам отправляется за стойку раздачи, а, вер-
нувшись минуты через две с тарелками
на подносе, уже не находит сына на месте. Тот, не расста-
ваясь со своими валенками, на которых
белеют меловые цифры, стоит возле большого фикуса у
окна. Михаил недовольно хмыкает: ну, уж
там-то чего интересного он нашёл? Окурки, натканные
в кадку с землёй? (Вечерами эта столовая
используется, как ресторан).

– Ты чего там делаешь? – сердито кричит Огарыш.

– На муху смотрю, – отвечает Ромка.

Два школьника, сидящие за соседним столиком с родите-
лями, прыскают от смеха – нашёл на

19

что смотреть. Пожилой человек за столиком недалеко от
фикуса смотрит на него с тихой улыбкой –
ну надо же, человек на муху смотрит...

– А ну-ка, иди сюда! – так же сердито подзывает его Ми-
хаил, а когда сын оказывается рядом,
осуждающе вздыхает: Ох, и любопытный же ты...

Ромка не понимает его недовольства и улыбается. Михаил

вздыхает ещё раз, расставляя

тарелки со столовским борщом. Интересно сейчас и другое. Обычно на сынишку он вот так не

кричит. Тот не выносит любого повышения голоса – сразу сопит, блестит глазами, обидчивый

прямо, как девчонка. Может потому-то и Маруся на него просто не надышится. А сейчас, на

удивление, он не обижается. Наверное, тут слишком много других впечатлений.

– Какая там ещё муха? – спрашивает вдруг Огарыш.

– Ой, папка, живая! Совсем живая! – блестя глазами, восклицает Ромка, чуть не подскакивая с

места, чтобы снова убежать туда, – летает там около цветка.

– Да не может быть, – озадаченно бормочет Михаил, – зима же... Откуда она взялась?

– Летает, летает! – твердит сынишка. – А нам в школе говорили, что зимой мухи спят.

– То-то и оно, – невольно рассуждает Огарыш, – наверное, это какая-нибудь городская муха.

– Городская? – смеётся Ромка. – Ой, папа, а комары городские бывают? А бабочки, а муравьи?

– Муравьи... Скажешь тоже. Что же они, по снегу будут ползать или как? Ешь давай. У нас тут дел ещё полным-полно.

– Ой, папка, так муравьям-то надо тогда зимой на малень-

ких лыжах кататься, – не унимается

Ромка.

– Ну, всё, всё, – останавливает его отец, – нашёл, где зубы скалить! Мы тут не дома, поди.

Вишь, люди плятятся на тебя.

Сытые после столовой, они уже так, от нечего делать, сами по себе, будто празднично отдыхающие

в городе, заходят ещё в несколько других, уже неинтересных, магазинов и снова идут к знакомому.

А тот, оказывается, и утром был дома, когда они приходили: отсыпался после ночной смены.

– Тарабанили бы как следует, – говорит он, – а то, наверное, поскреблись едва-едва, да и

подались... Твой что ли? – спрашивает он про Ромку.

– Мой, мой, – подтверждает Михаил, взяв сына за плечи.

– Ну, вы прямо-таки, как негатив, – замечает знакомый, которого зовут Константином, – один

чёрный (всё же не зря тебя Огарышем зовут), другой – беляк. А ведь точно, вроде бы, твой –

вырос-то, я его и не узнал.

Не одного Константина удивляет факт их яркой несхожести. Отец, кроме того, что попросту

чёрный, имеет ещё и прямо-таки сажевую родинку на подбородке, а сын – белобрысый, со светлыми глазами и ресницами.

– Да уж какой выстругался, – смеясь, говорит Михаил: его

и впрямь не обижают и не удивляют

такие вопросы. – А ничего, пусть я – Огарыш, зато он как огонёк.

Приходится ещё и тут чай пить. Взрослые обсуждают скучные сельские новости: Константин

знает Пылёвку, потому что часто ездит туда рыбачить. Рыбалка-то и связывает их с Михаилом.

Ромка тут же, на кухне, обнаруживает в углу какие-то железки и принимается исследовать это

сокровище. Больше всего удивляет большая проволочная катушка. Уж до чего блестит она,

переливается!

– Гляди-ка, сидит, колдует чего-то, – улыбаясь, шепчет Константин, у которого никогда не было

детей.

– Да уж, любопытный, как не знаю кто, – вроде как извиняясь за него, говорит Огарыш.

– Да ничо, ничо, пусть себе.

– Смех сказать, – шепчет и Михаил, подкупленный теплотой в голосе хозяина, – знаешь, кем он

хочет стать?

– Электриком что ли?

– Мелко пашешь, – говорит Огарыш и вовсе шипящим голосом, – не электриком, а каким-то там

волшебником...

– Кем-кем? – ещё более тихим, изумлённым шёпотом,

спрашивает Константин. – Да как же это?

– Ну, ты же слышишь, по радио всё эту песню поют «Просто я работаю волшебником».

– А, Марк Бернес...

– Во-во. Так вот он как услышит её, так и сидит, не шелохнётся, только губами шевелит. Всю

песню наизусть знает. Слышу, как-то затаился за ширмой, что-то там мастрячит себе и под нос

напеват. Ни одной песни не знат, а эту выучил. А то как-то раз спрашивает: «Папа, а как это можно

жизнь учить не по учебникам?» А я и сказать чего не знаю. Говорю: «Ну, как, как? Живёшь вот

просто так, да и всё». А он тогда: «А как же её тогда можно по учебникам учить?» А я чо, учил? Я

чо, знаю? Насочиняют всякой всячины, токо ребятишек с толку сбивают. Да он ещё у матери всяких

её чудес нагладелся. Один раз, слышь, насмелился и спрашивает у неё, где на волшебников учат. А

та, дура, возьми да засмейся.

– Действительно дура, – сочувственно соглашается Константин.

– А почему это дура?! – вскидывается Огарыш уже без улыбки, мигом слетевшей с лица.

20

– Так ты же сам сказал.

– Я?! А, да я это так, к слову, – успокаивается Михаил.

Константин ещё несколько секунд сидит, словно за чем-то замороженно и с удивлением наблюдая в самом себе. Потом, подавив и без того тихую улыбку, поворачивается к маленькому гостю.

– Слышь, Рома, – говорит он, – возьми эту катушку себе. Бери, бери, тебе пригодится, а у меня ещё есть.

Ромка просто не может передохнуть от радости. Такое приобретение! Это что за день сегодня такой! Уж он-то знает, куда приспособить эту проволоку. И он тут же принимается перематывать её в отдельный моток: если своё, так надо же к своему как-то руки приложить.

Но перемотать успевает лишь половину. Отец встаёт из-за стола, берёт мешок с запчастями и фотоаппаратом – пора шагать на автостанцию.

По улице Ромка, кажется, не идёт, а летит на валенках в подкрылках. Ох, уж эти новые валенки!

А фотоаппарат – это чудо машинка, которой он карточки делать будет! А проволока, которую он сегодня вечером домотает дома! Сколько фантазий по поводу всех сегодняшних приобретений!

Быстрее бы теперь со всем этим домой из такого чудного, щедрого города! Отец же плетётся себе что-то еле-еле. Ещё и за руку взял, так что валенки при-

ходится нести с одной стороны. Ромка

постоянно заглядывает вперёд: да где же она, эта автостанция? Идут они долго, всё кругом

незнакомо, потом заворачивают за угол и вот она – автостанция. С вывеской и со скамейкой у

крылечка – теперь уж совсем рядом. Ну, уж тут-то не заблудишься! Добежать бы до скамейки да

подождать там отца. Вырвав свою ладошку, он потуже перехватывает валенки под левой рукой и

косо, изображая истребитель, перегруженный на одно крыло, пробегает мимо капота стоящего у

обочины автобуса и вдруг – прямо под колёса другого!

И Михаил всё это видит. Видит тот пустой автобус, круто и лихо заворачивающий во двор

автостанции, видит Ромку, бегущего прямо на него, видит, как от удара бампером его сынишка,

свернувшись комочком, отлетает вперёд, как разлетаются по дороге его новые валенки, как

настигает его колесо с отчётливым протектором. Только колесо в этот момент уже не вращается, а

идёт юзом. Метра два оно скользит по прикатанной дороге и лишь однажды перекувыркивает

Ромку. У сына слетает шапка, из карманов выпадают катушка и моток с проволокой. Его

перепуганный сын-беляк быстро вскакивает, отбегает в сторону, но, увидев, что автобус уже не

движется, словно прильнув колёсами к скользкой дороге, бросается собирать своё добро.

Огарыш ослабело стоит и не может шагнуть. Из автобуса выскакивает молодой водитель с

белым, как печка лицом. То ли по оцепенелому виду, то ли по их телогрейкам, то ли потому, что в

Михаиле с его мешком, клейменным буквами «ММ», сразу угадывается деревенский, водитель тут

же догадывается, с кем шёл этот белобрысый пацанёнок, и хватает Михаила за ворот. Никто,

никогда не дёргал так когда-то дерзкого и хлёсткого в драках Огарыша, и никто никогда не

обкладывал его такими матюгами, как этот молокосос. Водитель даже замахивается на него, но

потом медленно опускает руку, потому что помертвевший Огарыш даже не моргает на его замах.

У Ромки побаливает бедро, но не так чтобы очень: на лыжах ушибался и сильнее. Теперь ему

жалко отца, которого из-за него так матерят. Быстренько подобрал и шапку, и катушку, и валенки,

он подходит к водителю, не стесняясь и без боязни, дёргает его за край куртки и, глядя

голубенькими глазами прямо в глаза, просит:

– Дяденька, вы не ругайтесь, он не виноват. А я больше не буду так делать...

Водитель удивлённо с полминуты смотрит на него, потом,

отмахиваясь руками, словно говоря

«чур меня, чур меня», вскакивает в кабину и пытается закурить, ломая о коробок одну спичку за другой. Молодой, но уже достаточно тёртый шофёр и сам не поймёт своего внезапного страха.

Сначала был испуг оттого, что он чуть было не задавил пацана, выскочившего на дорогу, но теперь

тот первый страх смят вторым, более сильным. В голубеньком, почти ангельском взгляде

мальчишки, только что побывавшего на краю жизни, он вдруг увидел нечто совсем противное

ангельскому. Странная глубина, почти бездна плеснула из его глаз. Как будто мальчишка заглянул

в пропасть, и пропасть оказалась сфотографированной его взглядом. Нервно сплёвывая крошки

табака от сигареты, водитель наблюдает потом за ними, одинаково одетыми во всё чёрное.

Совершенно трезвый мужик идёт словно на ватных ногах, а ребёнок, только что получивший

потрясающий опыт, осторожно и заботливо оглядываясь на дороге, переводит его, как поводырь

слепого. «Демон, это просто какой-то демон», – думает водитель про пацана, и сам удивляясь

тому, откуда в голове всплыл этот «демон», откуда он вообще знает это слово.

Ромка же отчётливо понимает, что уж на этот-то раз ему

обязательно влетит и, наверное, чего

доброе ремнём. И это несмотря на все сегодняшние подарки. Но с отцом как будто что-то стало.

Потом, когда они уже входят в сумрачную, деревянную автостанцию, Огарыш, обмякло

плюхнувшись на скамейку, притягивает Ромку к себе и долго, как-то бездумно, гладит по голове, чего уж вообще никогда в жизни не бывало.

– Ох, ну какой же он молодец... Какой молодец... И как он только тормознуть успел... –

медленно произносит он, но все как будто для себя самого. – И, главное, тормознул-то передком...

21

Ведь могло и задёрнуть. И почему он меня не ударил? Лучше бы ударил. Злой-то какой был.

– Он был не злой, – не соглашается Ромка. – Он светлый весь. Он просто испугался, да и всё.

– Как это «светлый»? – автоматически спрашивает Михаил.

– Ой, папа, ну я не знаю, как это светлый. Просто он такой. Я сейчас почему-то всех цветными

видеть начал. И ты тоже светлый – жёлтый такой.

– Пожелтеешь тут с тобой, – бормочет ошеломлённый Огарыш, не понимая его странных слов.

И потом в автобусе он всю дорогу молчит, не отпуская сына на какое-нибудь свободное место,

которых пол-автобуса.

– Ну, что же ты так-то, а? – тихо говорит он уже около самого села, словно у самого же Ромки

ища сочувствия. – Ну, вот приехал бы я сейчас один, да матери-то чо бы сказал, а? Она бы не

вынесла... Уж она-то точно бы не вынесла... Это я – крепкий...

– Папа, я ещё где-то пуговку потерял, – насмелившись, сообщает Ромка для того, чтобы отец

заступился перед матерью, – она, наверно, *там* оторвалась...

Михаил отстраняет его на вытянутые руки и смотрит откуда-то издали. Видя потупленный

взгляд сына, он снова не может вымолвить ни слова: горло набухает непроходимой тяжестью. Вид

у сына вроде бы и виноватый, а всё равно вроде как радостный, будто он прошёл через какое-то

весёлое приключение, будто заглянул к соседу за высокий забор с колючей проволокой, да ничего

кроме рядов спелой малины там не увидел. Отец и сын смотрят друг на друга из разных миров. В

мире сына ещё, оказывается, нет смерти (или она для него какая-то другая). Он пока ещё как трава

или как птенец. И уйти мог бы, так ничего не поняв. Уйти из этого мира, даже не узнав, что в нём

существует смерть. Это почему-то и вовсе кажется невоз-

возможным. И эта разница их миров с новой силой потрясает Огарыша. Он чувствует вдруг даже какую-то неразделённость, одинокость своих переживаний: Ромка-то, оказывается, ещё совсем не тум-тум. Зимняя муха, муравей на лыжах...

Сын непонимающе смотрит в блестящие глаза отца, которые рядом, и уж совсем пугается, видя, как из отцовского глаза катится внезапная слеза и отвесной линией скользит по щеке с чёрной щетиной. Никогда не видел отца таким, он тоже отворачивается и сопит. .

...Из армии Романа ждут – не дождутся. Мать покупает ему несколько рубашек. Первую из купленных Огарыш решительно бракует.

– Но-о, купила какую-то распашонку, – ругается он, – он же, поди, подрос, или чо?

– Ну а какой же у него размер-то теперь?

– Да бери как на меня, токо чуть поболее, с запасом, – советует Михаил, – он же вымахал-то, поди, ой-ё-ёй...

Не сосчитать, сколько раз успевают они беззлобно переругаться до возвращения своего единственного сына. *2

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Странный дембель

Роман сидит на крашенном охрой горячем от солнца

крыльце, держа на ладони ключ, и через
два года привычно нащупанный всё там же – над дверной
колодой. Эта-то привычность и
заставляет его остановиться. На лбу солдата сохнут ка-
пельки пота, зелёная фуражка, отпотевшая
изнутри, лежит рядом. Вокруг всё своё, родное. На крыше
сарая блестят клёпаные алюминиевые
санки – наверное, он-то и забросил их туда ещё в детстве
после последнего катания с горы, только
тогда их деревянные планки не были такими облупивши-
мися и серыми. Там же валяется ржавый
конёк и полуистлевший валенок... Но не хочется сейчас
полностью отдаваться этому душевному
пощипыванию: не время рассыпаться по этим милым,
конкретным мелочам... Всё это потом,
постепенно – завтра, послезавтра... Спешить уже некуда.
Теперь он тут надолго, возможно, на всю
жизнь. Сейчас хватает и одного цельного чувства – хоро-
шо просто сидеть и дышать родным.

Роман видит, что первым на большие шаги к дому спешит
отец. Он того и ожидал, что весть о
его приезде сама найдёт родителей: и в автобусе ехал с
односельчанами, и здесь сидит на виду
всей улицы. А шаги-то у отца, кажется, уже чуть-чуть не
те: ломкие, вязкие. Ноги, что ли, как-то не
до конца распрямляются? И руками он теперь как-то ко-

роче размахивает. Наверное, если б не торопился, то не бросалось бы это в глаза.

Роман по привычке, как при появлении старшего, надевает фуражку. Отец и сын сходятся у калитки. Встряхивают друг друга за руку, встречаются глазами, но не обнимаются и тем более не целуются: такие нежности между мужчинами в семье не приняты.

– Ну, здорово, батя, – говорит Роман.

– Дорово, дорово, – отвечает Михаил, блестя глазами, – как доехал-то, ничо? Нормально?

– Нормально, – отвечает Роман, улыбаясь про себя: да какая разница как доехал, если дома два года не был? Хотя, конечно, и дорога была непростой, но это уж другая песня.

Входят в дом. Михаил, накинув кепку на «спичку» (слово, которое Роману вспоминается вдруг),

22

или на гвоздь, вбитый в стену, суетливо выскакивает с чайником на веранду. Роман даже замирает:

отец случайно задевает ковшом о край бочки, и этот звук раскатывается в душе – надо ж, как живёт

здесь всё своё: и бочка та же, и ковшик, и чайник, и звуки. И вкус воды из этой бочки, конечно, тот же, который нельзя было забыть. Роман медленно обходит комнаты, рассматривая столы, шкаф,

стулья, комод, окна, кивая головой, здороваясь и словно соглашаясь со всем и согласуя себя со всем своим. На комодe много разных мелких сувенирчиков, к которым умильно и трогательно тяготеет мама. Прямо целая выставка. И все эти игрушки знакомы. Среди простых сельских вещей они всегда казались чем-то чудесным, пришедшим из какого-то большого, более цветного мира.

Особенно контрастирует со всем деревенским изящная фарфоровая статуэтка девочки с синими глазами. Романа ещё в детстве подмывало спросить у мамы, откуда она? Кто её подарил? Но не спрашивал, откладывал, не понимая, чего больше ему хочется: знать о ней или не знать, чтобы оставалась тайна. Однажды, когда был ещё совсем маленьким, спросил лишь об одном: «Мама, а как эту девочку зовут?» Маруся взяла в руки статуэтку, повертела её так и эдак. «Не знаю, сына, – задумчиво ответила она и тут же оживилась, будто впервые увидев. – Ой, а глаза-то, глаза-то у неё какие синющие! Прямо страсть! Вот если бы у меня была такая доча, то я называла бы её Голубикой». «Голубикой, – засмеялся Ромка, но с какой-то стыдливой неловкостью – очень уж удивило и понравилось ему это имя, – нет, мама, так девочек не зовут». «Да, знамо дело, не

зовут... А может, и зовут, кто его знает...», – ответила Маруся, посмотрела на сына, потом куда-то в угол комнаты, словно вдаль, как в какую-то мечту и, вздохнув, поставила статуэтку на комод.

А вот в зеркале шкафа он в своей военной форме выглядит непривычно, как будто не соответствует своему дому. Сняв китель, Роман выходит на яркую, освещенную веранду к отцу, который с пристрастием изучает белое нутро холодильника.

– А лысина-то у тебя увеличилась, – грустно замечает Роман.

– Да уж, так получатца, – даже как-то польщёно смеясь, откликается отец, – думал, пойду в седину, а пошёл в лысину. Седых-то ни волоска. Сразу живыми осыпаются, и всё.

Он принимается рассказывать про их жизнь-бытьё, но от радостной взбудораженности как-то

всё не о том. Интересно ли теперь это сыну? Теперь Ромка (да какой уж он теперь Ромка –

настоящий Роман) даже как-то непривычен. А вымахал-то как: подтянутый, тонкий, кисти рук – как

клещи, а лапы, чего доброго, сорок последнего размера. Про тех, кто приходит из армии, говорят –

возмужал. Возмужал и сын, но только его возмужание продвинулось как-то не «по линии»

Михаила. Огарыш быстрый и шебутной, а в Романе обнаруживается квадратность плеч, солидная неспешность, с продуманностью каждого жеста, грудной голос, теперь уже полностью сгустившийся до баса. Откуда это в нём? Видать, пробивает что-то по естественной родове, которую никто из них не знает. Странно, что Огарыш, вырастивший его, вдруг чувствует перед сыном неловкость и лёгкую робость. Ему вдруг кажется, что Ромка-Роман такой, каким он вернулся, ни за что и ни в чём не послушается его. Всё – теперь он уже полностью сам по себе.

Чайник ещё не успевает и зашуметь, как массивно, но торопливо, раскачиваясь из стороны в сторону, приходит Маруся. Она была в магазине, когда ей сообщили новость, а потом ещё и по дороге два раза поздравили с возвращением сына. Первое, что она, запыхавшаяся, видит в зале перед круглым столом, покрытым красной бархатной скатертью, – это сержантский китель с зелёными погонами, аккуратно висящий на спинке стула. И у неё уже всё плывёт перед глазами.

Роман, слыша её шаги по скрипучим половицам веранды, выходит из кухни и попадает в объятия.

Пригнув сына к себе, Маруся зацеловывает его до того, что Роману приходится со смехом и

растроганностью вытирать ладонями лицо. Есть у Маруси такая особенность, как слёзная чувствительность. Встречая родных (да и провожая тоже) она всегда плачет, не стыдясь и не стесняясь никого, потому что для неё естественно. Кто-то может кричать, хлопать по плечам, размахивать руками, у кого-то при этом наворачиваются слёзы на глаза, а Маруся обильно и растроганно плачет.

А вот у неё-то при виде сына и тени робости нет – мой, и всё. Рослый, сильный и красивый?

Значит, ещё больше мой! Маруся невольно присматривается к Роману – выпрямила его армия или нет? Плечи сына чуть перекошены с рождения. Михаил, помнится, всё переживал – вдруг на медкомиссии забракуют да служить не возьмут? А разве можно парню без армии? Он же потом и сам себя человеком считать не будет. Когда Роман вырос, то плечи оказались широкими и прямыми, ещё сильнее подчёркивая перекош. Но ничего, взяли, вроде не заметили. Теперь же видно, что и военная выправка его плечам не помогла. И снова для Маруси этот неправильный, всё же менее заметный, но теперь уже родной перекош – напоминание о трудной его судьбе.

– Но-о, развылась! – ради порядка прикрикивает на неё

Огарыш, правда, позволив сначала
источить основную порцию слез.

– А чо же не повыть-то, – говорит Маруся, сморкаясь в платочек, – сыночка вернулся. Я ить

говорила, говорила же тебе, что сѣдни приедет. Я же чую.

– Чуешь, чуешь, – соглашается Огарыш, от волнения на-резая сало неровными брусочками. – Ты

это каждый день чуяла, причѐм, три недели подряд...

Немного успокоясь, Маруся ещѐ раз прижимает Романа, но уже как-то завершающе,

23

освобождѐнно от переживаний, на другом настроении: всё, факт свершился, надо привыкнуть. Сын

дома, здесь, рядом. Вот и хорошо.

– Ну, ладно, готовиться начну, – однако, опять же чуть не заплакавшись, но уже на какой-то

другой волне, сообщает она, – вечером людей соберѐм. Ты своих друзей пригласи...

– А может, не надо всего этого? – говорит Роман. – Отслужил да и отслужил... Все служат.

– Ну прямо, не надо тебе! – тут же строго прикрикивает мать. – Мы чо же, не ждали тебя, или

чо? У нас уже всё запасено. Вино и то выдюжило. Папка вон чуть слюной не захлебнулся, а

вытерпел...

При этом она зыркает на Михаила, напоминая тому о чѐм-

то, правда, не особенно того смутив.

– Но-о, мать-перемать, не захлебнулся тебе! – возмущается отец, но уж как-то слишком

«показательно», с горделивой ноткой за свою выдержанность.

– Давай, давай полайся, – говорит Маруся, – пусть сын-то послушат, давненько тебя не слышал, соскучился поди.

– Но-о, послушат тебе, нашла тоже ребёнка, а то он в армии-то ничо такого не слышал... Ты

думашь чо? А, да ничо ты тут не понимаеш...

* * *

Маруся, как и Михаил, побаивается, как бы по приезду сын не рванул на какую-нибудь

комсомольскую стройку, куда без устали зазывают газеты и радио. Михаил полагается здесь на

судьбу, а вот Маруся знает, как перехитрить все эти зазывы. Планы её связанные со Светой

Овчинниковой, выстроились сами собой, когда Марусе стало известно, что Света, оказывается,

ещё со школы влюблена в Романа.

Приходя в клуб к своей матери, заведующей клубом, Света всегда пыталась угодить и помочь

Марусе, и та очень быстро «раскусила» её: слишком уж нежным румянцем заливались свежие

Светины щёчки при всяком случайном упоминании о Ро-

мане.

Примерно тогда же по стопке написанных, но не отправленных писем тайну Светы узнаёт и её мать. Образованная Галина Ивановна даже с некоторым недоумением открывает внезапное повзросление дочери, но быстро мирится с ним. Что ж – пришла пора, никуда не денешься. Только вот Роман с его зыбким происхождением как-то не совсем устраивает завклубшу в роли возможного зятя. Да и Маруся с её ворожбой и знахарством... Сама Галина Ивановна женщина породистая – высокая, статная, да всё-таки ещё и с культурным образованием. Её муж, главный механик, хоть и уступает ей одну ступеньку в образовании, зато не уступает в стати, так что и Светлана у них девица хоть куда. И потому Галине Ивановне хочется, чтобы парень у её дочери был первостатейный. Роман же, каким она помнит его – долговязый, белёсый, худой, какой-то нескладный, с кривыми плечами – ну вот совсем не то. Да ещё кто знает, какая у него биологическая родословная? Удивительно, что Роман-то пока и сам не знает правду о своём происхождении. Как-то, в минуты откровения, Маруся даже просит у Галины Ивановны, как у женщины не только образованной, но и уважаемой, совета

о том, не пора ли уже сыну, такому взрослому, узнать всё? Немного подумав, Галина Ивановна уклончиво отвечает, что тут её образование ни при чём – никакое образование не позволяет давать советы в таких щепетильных вопросах.

В общем, так или иначе, но женщины, полушутя – полусерьезно объяснившись по поводу

будущего своих детей, начинают так же полушутя называть себя «сватьями» (хоть Галина

Ивановна поначалу и морщит нос) и, кажется, уже от одного определения своих в принципе-то

возможных отношений, и впрямь начинают чувствовать друг к другу тень взаимного родственного

тепла. Так что вскоре уборщица и завклубша чаюют за сценой уже вместе, хотя какая-то льдинка

неприятя в душе Галины Ивановны так и остаётся.

После объяснения со «сватьей» Маруся вроде как ненароком подталкивает Светлану к отправке

хотя бы одного своего письма и однажды специально для неё «теряет» конверт с адресом сына.

Галина Ивановна, чуть вынужденно смирившись с таким развитием событий, не мешает

Марусе. В это время она вообще обнаруживает в себе странную нерешительность. Дочь всегда

принадлежала ей всей душой, а тут уж всё – у дочери на-

чинается своё. Насоветуешь или помешаешь чему, так потом и сама не рада станешь. Упрёки детей – самые больные и ранящие упрёки.

Огарыш, проведав от проболтавшейся как-то Марусечки о секретах «сватей», ругает их дурами,

провокакторшами и шпионками. Да о какой свадьбе речь! Парню сначала вволю набегаться надо, перебеситься, потому что если попрёт потом из него неизрасходованная молодая дурь, то её

никакая семья не утихомирит. Хотя оно, конечно, если разобраться, так не каждый год в селе

подходят к выданью такие невесты, как Светка, но «жись есь жись»... Вот если бы переждать ей

пару свободных годков, то Роман стал бы потом настоящим женихом. Но кому это скажешь?

Марусечке?! Да уж она-то найдёт, что припомнить ему в ответ на такие речи. Слово «кобель» там

будет, пожалуй, самым ласковым. И Огарышу остаётся только злиться, огорчённо крякать и

24

матюгаться куда-то в сторону.

Вечеринка по поводу встречи Романа собирается после дойки коров. Но Роман не знает, кого на

неё пригласить – в селе из одноклассников лишь Боря Калганов, вернувшийся из танковых войск, с

которым они и в школе-то друзьями не были, а теперь уж и подавно. Остальные все разъехались.

– Эх, с Серёгой бы увидеться, – говорит Роман.

– Серёгу-то в Пылёвку теперь не заманишь, – вздохнув, сообщает Маруся, – Надежда

Максимовна с Вовкой совсем спились. Все мы, конечно, любим маленько выпить, но не до такой же степени... Ну, да ты ещё увидишь их.

Вот уж кто возмужал в армии, так это Боря. Теперь он большой, округлившийся, огрубевший.

Видимо, танковыми рычагами он наработал себе массивные лапы и тоже, кажется, подрост. У него

как-то круче и ниже опустились скулы, и лицо, кажется, более определилось. Теперь это

энергичный бодрячок-кругляшок. В армии он освоил жест, которого не имел раньше. При разговоре

Боря для убедительности отдельных слов по-боксерски бьёт кулаком одной руки в ладонь другой.

И это почему-то впечатляет.

Не вынеся из детства никаких связывающих воспоминаний, говорить они могут только о службе.

Слушая, с какой гордостью Боря отзывается о своём необыкновенном танке, Роман еле

удерживается, чтобы тоже не начать хвастаться чем-нибудь своим.

На вечеринке всё обычно: приветствия, хвалебные слова,

тосты, шутки, прибаутки. Что ж,

можно и выпить – почему бы и нет? Боря так и вовсе делает это с превеликим удовольствием.

Скоро доходит и до песен. Роман ждёт, когда мать споёт свои любимые частушки-страдания,

которые выходят у неё задиристо и голосисто. А вот и они:

Ой ты, белая берёза,

Ветра нет, а ты шумишь...

Моё сердечко ретивое,

Боли нет, а ты болишь...

Матери подпевают тётка Валентина, жена дяди Тимофея, и другие женщины. Особенно хорошо

выходит у одной звонкоголосой соседки. И она чем-то напоминает Любу: эх, если бы Люба могла

сидеть здесь же, за столом, и петь с женщинами, знакомыми с детства... Как, наверное,

понравилась бы она матери! А мать, взволнованная пением, почему-то именно тут, в каком-то

перерыве, наклоняется к нему и спрашивает, помнит ли он Свету Овчинникову?

– Помню, – отвечает Роман, – сопливая такая.

– Ой, да ты чо!? – всплеснув руками, восклицает мать. – Она сопливой-то сроду не была...

Роман и не ожидал, что обидит этим мать. Маруся, уже принимающая Свету как свою,

обижается на своего глупого сына до того, что встаёт и,

утирая глаза, уходит на кухню.

На этой же вечеринке удаётся услышать вводную часть в курс совхозных дел уже не в письмах,

а на словах и решительных жестах. Подвыпивший отец открыто разносит теперь эти дела в пух и

прах, заявляя, что «вот в колхозе-то всё было куда лучше и хозяйственной». Тимофей, брат

Маруси, слушает его с отквашенной губой.

– Да чем же тебе совхоз-то не глянется? – недоумевает он. – Просто жить надо умеючи... Если у

меня трактор под задом, так я чо же, не привезу себе, чо надо? Теперь не надо каждую копейку-то

считать. Государство, слава Богу, не скупитца. А ты сорвался с трактора в свою строй-банду,

ходишь по улице с молоточком, как бродяга, а чо толку-то...

– А мне с молоточком-то спокойней! – взвивается Огарыш. – Ну, возьму я горсть гвоздей в

карман, так я же тонну-то их не натаскаю: чо мне их, в уборную забивать? А на тракторе-то, это ты

точно говоришь, тащить надо. А не своруешь, так тебя теперь даже собственная баба не поймёт.

– Ладно, можешь и не воровать, но работа на тракторе так и так выгодней.

– Выгодней?! – кричит Михаил. – А кому выгодней? Кому она нужна, така работа?! Как сейчас на

тракторе в поле работать? Пары-то какие должны быть, а? Чёрные? Чё-ёр-ные. А у нас? Я как-то ехал на мотоцикле да остановился ради интереса поглядеть. Стою и не соображу: то ли там кака-то репа голландска растёт, то ли кукуруза американска, то ли хрен хороший такой, африканский.

Всё зеленым-зелено. Нет уж, прежде чем я на трактор сяду, пусть он сначала всё литовочкой выкосит и вылижет! Это он всё позароостил.

– Да кто это – он-то?

– Да директор твой толстобрюхий, депутат этот, мать его перемать!

И всем понятно, что теперь это у них надолго.

Оба уволенных солдата сегодня в дембельской форме, переиначенной и разукрашенной так,

что на уставную она уже едва похожа – так ведь обычай такой, куда же денешься? Оба, конечно,

ещё и чуть поддатые, а один так уже и не чуть. Почему бы и в клубе не покрасоваться? В конце концов, разве не для этого служили?

А в клубе Светлана, которая и в самом деле никогда сопливой не была. Теперь же – красавица!

Нет, не правильно, теперь она – писаная красавица! Чего стоит одна её толстая коса, пожалуй,

район! А кожа какого-то мягкого, прямо-таки

персикового цвета?! А тонкая фигура, в которой уже теперь угадывается стать её серьёзной

матери! А изгиб точёной талии, который бьёт по круто начинающемуся бедру? И это всё при том,

что Роман тут же ловит на себе её тайные, испуганно-призывные взгляды. Но с другой стороны...

«Распланировали они тут всё за меня», – ущемлённо думает он. К ней просто так не подойдёшь.

Подойти к ней – значит уже наполовину жениться. А надо ли это ему? Хороша Светлана, да только

не такая, как Люба, и потому ничем родным от неё не веет. Ни душевной, ни физической тяги к ней

он в себе не слышит. Впрочем, после встречи с Любой физическое смолкло в нём вовсе. Свечение

любимого образа с лёгкими, дурманящими завитками на шее, с чуть вздёрнутым носиком выжигает

и подавляет всё.

Первая неделя, прожитая Романом дома, удивляет и мать, и отца. Демобилизованный солдат

почему-то постоянно сидит дома. Вечерами ходит, правда, в клуб, но после кино сразу же, как из

увольнения, прибывает домой. А если и задерживается на танцах, которые в клубе почти каждый

день под собственный ВИА с двумя гитарами и барабаном, то не больше, чем на полчаса. И как

это понять? По разумению Огарыша, сыну сейчас по всем статьям полагается приходить с петухами, а он уже в двенадцатом часу сидит на веранде и дует молоко с хлебом под недоумённым материнским взглядом. Михаил от этого вроде бы даже как-то по-отцовски не востребован. Сына сейчас полагается для порядку строго и периодически приструнять за то, что тот шарится где-то ночами. Сын же должен изворачиваться, пряча глаза, но всё равно бегать. А тут что выходит? Тут всё как-то не по-правильному правильно. А что за странная печаль в его глазах, заметная уже и в первые минуты встречи, и на вечеринке в его честь? А почему вечеринки он не хотел? Другой бы на его месте юлой ходил, всех друзей обежал и собрал к себе. А ему хоть бы что. И Светку в упор не видит. Почему!?! Но ведь самого-то Романа не спросишь, да и у Светки ничего не выпытаешь. Огарышу остаётся лишь следить за оперативными донесениями «сватей-шпионок».

Эх, сбиты и подпорчены все отцовские планы и мечты... Маруся же и вовсе растеряна. С нетерпением ожидая сына, она думала, что уж с такой-то красавицей, как Света, у него всё пойдёт как по маслу, ведь лучшего варианта и придумать нельзя.

Она даже с удовольствием представляла, как после Роман

будет ей благодарен за то, что она с

такой невестой пособила. А тут вовсе никак и ничто не идёт. Никого Маруся не любит так, как

своего единственного сына, и не болеть за него всей душой не может. Порча на нём какая, ли чё

ли? Так не похоже. Нагадать бы что-нибудь ему, наворожить, но здесь нельзя – не тот случай.

Собственные болезни знахарям не под силу.

Галине Ивановне с приездом Романа удаётся наладить с дочерью самые доверительные

отношения – если уж не советовать, так знать-то проблемы дочери она должна? Каждый вечер

теперь она, сопереживая, обсуждает со Светой всё, что касается Романа: во что был сегодня одет,

как держался, не заглядывался ли на кого, как смотрел на неё? Отношение Галины Ивановны,

вовлечённой теперь в эту интригу, изменены к нему вкоре. В какого роскошного мужчину,

оказывается, развернулся этот некогда гадкий утёнок! Не однажды видя его на улице, она уже не

может не смотреть на него пристальней, чем обычно. Плечи его, так и оставшиеся с некоторой

косиной, теперь уже не признак нескладности, а похожи на некий постоянный, задиристый вызов. В

конце концов, кто знает, каков был его настоящий отец? Образованная и начитанная Галина

Ивановна думает, что Роман, кажется, похож теперь чем-то на горьковского Челкаша, и это заключение, дающее ему законченную определённость, наконец-то успокаивает её. А голос у него

какой! Однажды на улице Роман просто так, тихо и скромно поздоровался с ней, так Галину

Ивановну и саму мурашками на сто рядов прошло. Уходя, она потом ещё несколько раз

оглядывалась на него, потирая руку около локтя, чтобы ласково пригладить этих мурашек.

Оказывается, у Романа, у этого хриплого в прошлом петушка – густой, мягкий бас! Галина

Ивановна – женщина крупная, обожает крупных мужчин, но так, чтобы и голос у них был

«крупным». А вот у её большого мужа голос так себе, средненький. Но что уж тут поделаешь – всё лучшее в одного мужика не втолкнёшь.

Теперь Галина Ивановна даже приветствует возможную дружбу Романа и своей дочери. И Света

волей-неволей оказывается в таком положении, когда даже утайка от матери какой-нибудь мелочи

– уже предательство. Только вот рассказывать-то ей не о чём. Каждый день всё, как обычно. После

кино он сидит в кресле фойе, слушает, как играют музыканты, смотрит, как танцуют другие. Потом

встаёт и уходит домой. Как другие девчонки смотрят на

него? Заглядываются, конечно. А Наташка

Хлебалова, так та и вовсе всё время вьётся около него. Галина Ивановна возмущена: Наташка!?

Так она же ещё совсем соплячка! Только девять классов закончила! Она-то куда лезет! Правда, юбчонку носит такую, что ветер всюду обдувает. «Не смотрит он и на неё», – махнув рукой, говорит Света.

Чай Маруси и Галины Ивановны за клубной сценой начинают заметно горчить, потому что на сцене их действия полный штиль. И всё же больше всех этот странный, неправильный покой тревожит Огарыша. Мирное, парное молоко после клуба – это хорошо, но Михаил слышит, как сын подолгу потом ворочается без сна. Что его мучит, когда в клубе столько соблазнительных девок!?

26

Ну, не Светка, так ведь там и без неё их целый табун. Или с ним всё-таки что-то не так? Но чем таким опасны пограничные войска? Будь он ракетчиком, тогда другое дело... Хотя кто знает, что творится сейчас на границах... Мало ли какие происки с вражеской стороны... А может быть, у сына от рождения что не так? Только как это поймёшь? И чем больше всяких подозрений возникает в голове Огарыша, тем больше он панически утверждает-

ся, что с сыном что-то по-настоящему

неладно. «Ну что ж, всё верно, – в некоторые минуты уже обречённо думает он, – видно, у меня на

роду написано никакого продолжения не иметь. С сыном-то ещё повезло, а дальше, видно, шиш.

Судьбина, знать, такая». Однажды, думая об этом перед сном, Михаил не удерживает случайный

всхлип от обиды за себя и от жалости к сыну.

– Ты чо, выпил сѣдни где-то, или чо? – спрашивает Маруся, даже воспрянув ото сна.

Огарыш молчит и этим потрясает Марусю: не матюгнуться после такой реплики в ответ!

Окончательно, почти испуганно проснувшись, она лежит, глядя в потолок. Видно, на его душе что-

то очень серьёзное. И Михаил чувствует этот её молчаливый вопрос. Он поднимается, идёт к

бочке, пьёт воду ковшом. Может, сказать ей о своих подозрениях? Нет, не поймёт. Этим дурам

«сватьям» одна забота – как бы он не избегался, как бы женить его. А дело-то ведь куда хуже.

Дуры, они дуры и есть...

Маруся же потом тоже долго не может заснуть, и вовсе ничего не понимая.

* * *

Стоят знойные, засушливые дни. Горячая земля порохом сыплется в ладонях. Протока, где

купаются Роман с Борей Калгановым, сузилась до того, что даже страшно: как бы и вовсе не перехватило берегами эту сверкающую нитку. Всё пространство в эти дни иссушено настолько, что, кажется, не дай Бог, дотронется кто-нибудь до неба, и его поблѣклая голубизна осыплется пылью, открывая путь и вовсе лавине грузного белого огня.

Транжируя дни своих послеармейских отпусков, вчерашние солдаты несколько дней подряд приходят на одно место с полуостровком мелкого, чистого песка, намытого наводнением. Сверху песок горяч до того, что не ступить босиком, но если его растолкать ладонями, то внизу обнаружится сначала приятная влага, а потом и вовсе холодная вода. С одной стороны полуостровка серебрится протока, а с трёх других – мягкий тальник с длинными листьями, шелестящими и серебрящимися тыльной стороной почти при полном безветрии. Как мало требуется для красоты и покоя: всего лишь вода, песок, тальник, небо... «Ох, мир ты мой, мир чуткий и трепещущий...» – с восторженно замершей душой думает Роман, озираясь вокруг.

На плече Бори – синяя наколка: танк с громадным жерлом поднятого ствола. На заставе тоже

кололи стандартный рисунок с полосатым пограничным столбом и гербом СССР. Кололи все –

Роман отказался. Ещё с детства посмотрелся на страшные, расписанные кисти рук соседа Матвея,

приезжающего из тюрьмы лишь как в гости, и не решился портить своё тело даже такой памятной,

сувенирной картинкой. Да ещё, наверное, подсознательно удержала наивная детская мечта,

которой больше подходит чистота тела, а не какая-нибудь «синюшина», так или иначе похожая на

тюремное клеймо. К тому же, зачем ставить себя в зависимость от каких-либо символов? Два года

службы – это лишь маленький эпизод большой жизни. Вправе ли какая-то случайная наколка

становиться определяющим символом на всю жизнь? Вот Боря, судя по всему, теперь до конца

дней своих – танк.

Отгуляв всё положенное, Боря собирается сесть на трактор или машину. Он вяло сообщает об

этом лишь однажды. Такого куцега плана ему вполне хватает на всю оставшуюся жизнь. Пока же

Боре нужно покончить с отпуском, все дни которого он намерен отбыть на песке у воды. А ещё ему

завистливо хочется прожечься до пустынной черноты Романа. Роману же больше нравится не

валяться, а плавать, нырять, подолгу задерживая дыхание.

В воде обычно сидит по полчаса,
вылезая с гусиной кожей на теле. Оказывается, чуть по-
мёрзнуть – это даже приятно. Однажды в
отряде специально долго не выходил из большого холо-
дильника с мясом, наслаждаясь холодом, а
потом с неделю швыркал простуженным носом чуть ли не
при сорокоградусной жаре. Тогда он
даже побаивался, что, привыкнув к зною, не сможет пере-
носить свой сухой зимний мороз.

Впрочем, что мороз... Тогда пугала и сама жизнь на граж-
данке. Самостоятельными-то всё-таки
становятся не во время службы, где всё расписано и где
всё решают за тебя, а после неё, когда
вдруг обнаруживается, что на гражданке надо всё решать
самому.

Расслабленно ткнувшись грудью в горячий песок, Роман
испытывает новую волну
просветлённого осознания: а ведь он и в самом деле уже
дома.

– Понятно, почему раньше водой крестили, – бормочет
он, лёжа с закрытыми глазами.

– Почему? – спрашивает Боря, не поворачивая сонной го-
ловы, упавшей в другую сторону.

– А-а, – отмахивается Роман, ведь если это не понятно, то
и не объяснишь.

Был бы тут Серёга Макаров, он бы спрашивать не стал.

Чаще всего, правда, и тут с выражением сонливой усталости, Боря рассказывает о том, как вечерами он «кадрит» с Тонькой Серебрянниковой, одноклассницей Светы Овчинниковой.

27

– Что ещё за Тонька? – спрашивает Роман. – Я что-то путаю их всех.

– Её не спутаешь. Ну, её ещё Кармен зовут.

А вот Кармен вспоминается сразу. У Тони выющиеся, кудрявые волосы и чуть цыганистая

внешность. Конечно музыкальную, а тем более литературную Кармен в Пылёвке знают не многие,

но очень уж похожа Тоня на даму с флакона духов «Кармен». Роман вспомнил, что, кажется, ещё

классе в пятом Тоня на школьном новогоднем бал-маскараде нарядилась цыганкой. Вот с того-то

бала-маскарада она, наверное, и началась как Кармен.

– Ну, а у тебя как? – ещё спустя несколько минут безразлично спрашивает Боря.

– Да никак, – снова отмахивается Роман.

– Чудной ты какой-то, – вздохнув, произносит бывший танкист, – кастрированный что ли?

«Сам ты кастрированный, – беззлобно думает Роман, – только на другой орган».

Ему и впрямь не надо никого. Пока что хватает и свечения Любы. Пытаясь здраво представить

своё ближайшее будущее, Роман думает, что было бы хорошо подольше сохранить это спасительное излучение, потому что лишь оно способно ещё удерживать его у берега целомудренности. Продержаться бы так до следующего чувства, не размениваясь и не растрачиваясь. Ведь если разменяться, то искреннего счастья потом можно уже и не ждать. Может, отвлечься на что-нибудь другое? Да вот хотя бы на подготовку к вступлению в партию: кандидатский стаж скоро истекает. На службе эта перспектива казалась очень важной, а теперь вроде как поблёкла.

А всё-таки как там, что у Витьки и Любы? Вышло что-нибудь или нет? Может быть, есть ещё какая-то надежда? Роман пишет письмо на Витькин адрес и потом, сбросив конверт в ящик у почты, удовлетворённо вздыхает – теперь, пока он подвешен в ожидании ответа, его уравновешенному состоянию ничто не грозит.

Через неделю бездельничать уже не остаётся сил. Возвращаясь как-то с речки, Роман видит на улице отца, ремонтирующего штакетник, и берётся помогать. А на другой день выходит на работу с самого утра, надев армейскую панаму, привезённую не без затей напоминать земляками о своей

«пустынной» службе.

Боря пробует отбывать дни отпуска на речке в одиночку, но это надоедает и ему. Он идёт в

контору совхоза и уже на другой день торжественно и гордо подкатывает к Мерцаловым с их

штaketником на какой-то колымаге, намеренно обдав пылью и посигналив звуком, похожим на

овечьё бляенье. Да уж, танков тут нет! Впрочем, Боря уже и сам не тот армейский танк, каким

казался в первые дни. Непонятно как, но на домашней сметанке да молочке он успел за эти недели

ещё более округлиться, так что похож он теперь на молодого, перспективного бегемотика. Да ещё

какие-то неожиданно рыжие, пушистые бакенбардики отпустил, видимо, надеясь замаскировать

ими щёки, да наоборот эти щёки ещё сильнее округлил.

Ответ из белого Витькиного города приходит через полторы недели. Увидев конверт со

штемпелем города Златоуста и адресом, написанным женским почерком, Роман тут же понимает,

что надежды у него никакой.

«Здравствуй, Роман!

Спасибо, что не забываешь нас. Письмо твоё получили два дня назад, но Витя не любит писать.

Сейчас он ушёл на работу, а меня попросил ответить тебе. Всё у нас вышло, как намечали. На

обратном пути Витя встретил меня с поезда и не дал уехать дальше, так что я ещё и у мамы не была. Документы мне вышлют. Витя пошёл на завод фрезеровщиком, а я хочу устроиться швеей на фабрику. Это рядом с нашим домом. Вообще-то я давно мечтала о такой работе. Так что всё у нас хорошо.

Всего доброго и тебе! Счастья! Любви!

Привет от Вити. Люба.

До свидания!»

Письмо, переданное матерью, он читает, выйдя в ограду, и долго сидит потом на бревне,

задумчиво разглядывая буквы, написанные обычной шариковой ручкой. Вот каков он – почерк

Любы. Неужели этот листок был в её руках? Да, она всё написала сама. А Витька молодец – «не

дал уехать дальше», и всё тут. Вот это по-мужски и «попограничьи»!

Любин ответ вносит в душу такую полную пронзительную определённую, что в ней становится

свободно, гулко, пусто. Это послание словно из какого-то другого мира – чистого и счастливого. И

дома в том мире всё такие же светлые, высокие и в лёгком тумане. Спасибо красивому городу

Златоусту уже за то, что он есть. «А вот мне пора опустаться на грешную землю».

У Маруси неожиданное письмо вызывает бурю эмоций и подозрений. Почерк женский – это понятно и ей. Выходит, у сына уже кто-то есть. Причём где-то далеко. Значит, всё-таки уедет. И всем их с Галиной Ивановной фантазиям конец. Три дня Маруся набирается духу, чтобы заговорить со своей начальницей об этом, а на утро четвёртого дня Галина Ивановна вдруг сообщает, что вчера вечером Роман наконец-то подошёл к Светке и проводил её до дома. Маруся не может сдержать слёз.

28

* * *

Роман знает, что, по большому-то счету, Света всё равно не для него, но, увязавшись, наконец, проводить её, чувствует, что сердце его словно разносит на больших оборотах. От клубного крыльца, где светит лампочка с вьющейся вокруг неё мошкой, Света уходит быстро, но, оказавшись в темноте, замедляет шаги. И не оглядываясь, она слышит преследование и знает преследователя. Чем ближе подходит Роман, тем скованней становится она, тем более загнипнотизированно замедляется, так что шаги свои уже и растягивать некуда. Поравнявшись с ней, Роман некоторое время идёт молча, невольно ещё

сильнее пугая её. «Пожалуйста, вот он я, получите», – словно говорят уже сами его выровненные шаги. Да, собственно, не пойти за ней Роман уже не может. Душа помнит Любу, а разум постоянно долдонит, что Люба уже в прошлом. А в настоящем – Света. А может быть, и не Света. Может быть, ещё Наташка Хлебалова, шестнадцатилетняя девчонка, загорелые ноги которой выше коленок такие полные и тугие, что дыхание от их вида сдваивает поневоле. Уже при одном её появлении в клубе Роман чувствует такую сладкую ломоту в костях, что хочется потянуться всем телом. Он пытается затушить в себе это хищное, ласковое пламя, как удавалось делать с впечатлением от других женщин, да, видно, тут уже какой-то непреодолимый случай. Теперь, когда Любы почти что уже нет, это пламя не тушат никакие логические соображения, и даже не действует тот довод, что Наташке лишь шестнадцать. Ох, а уж что снится ему в последнее время, какие жаркие призраки истязают по ночам! Как эти Наташкины ноги смугло светят и мерцают во снах! Но за это он уже не может ни ругать, ни осуждать себя – сны запретов не понимают. Тем более, что всё желаемое не имеет во сне завершения – финалу там всегда что-нибудь мешает.

И это понятно: как может присниться ни разу не испытанное наяву? Наяву же всё в нём мешается: с одной стороны, страшно хочется поскорее испытать близость с женщиной, с другой – эта близость представляется падением. Ведь он намерен строить жизнь основательно, оставаясь совершенно честным перед своей будущей избранницей. Для настоящего счастья они должны быть целомудренны оба. И, конечно, теперь-то уж лучше Светланы для этого нет никого. Вот потому и шагает он сейчас с ней, видимо, поступая очень правильно.

– Здравствуй, Света, – произносит он, пройдя сбоку от неё уже чуть ли не пол-улицы.

– Здравствуйте, – шепчет она.

И снова оба надолго смолкают, привыкая к новому состоянию, в которое они входят, переступив, наконец, порог молчания. Когда Светлана ждала Романа, то чувство её было заочным и более решительным. Находясь внутри души, как в коконе, оно жило само по себе и не требовало никаких действий, никаких проявлений. Даже письма, и те Света, казалось, писала сама для себя. Но вот они, минуты, когда этому чувству требуется как-то выразиться вовне. Но как?! Видя Романа рядом, физически чувствуя его высокий рост, умом понимая всю

серьёзность этого человека, прошедшего

армию, она не может не робеть и не свёртываться внутрь к испуганной душе. Ей кажется, будто

Роман свалился на неё слишком быстро и неожиданно. Она, оказывается, просто не готова к

такому «сверхпарню», потому что до армии он был не таким «страшным». Да она бы уж лучше ещё его подождала, чем что-то делать сейчас.

– Присядем, поговорим, – предлагает Роман, указав в темноте на чью-то скамейку, уже на подходе к её дому.

Но Свету его предложение будто подстёгивает: она ускоряет шаги. Роман даже

приостанавливается в замешательстве. Потом уже около самой калитки он догоняет Свету, берёт в

ладони её похолодевшую ладошку. На лице этой красивой девушки лежит пёстрый тёплый

свет, пробивающийся с веранды сквозь черёмушную листву, и в душе Романа что-то и впрямь на

мгновение устремляется ей навстречу. Света же с постоянным, неослабевающим усилием

вытягивая ладошку, смотрит с таким ужасом, что его пальцы разжимаются сами собой. Да нет же,

нет на её лице красоты, которая ему почудилась на миг: всё в этом лице правильно, но без тепла

родного...

Света убегает за ворота. Вытянув шею, Роман смотрит по-
верх забора на хлопнувшую дверь
веранды и, ничего не понимая, бредёт домой. После всех
намёков матери, после выжидательных
взглядов самой Светы её просто дикое бегство вызывает
лишь недоумение.

Во второй вечер она, хоть и полуотвернувшись, но всё же
опускается на скамейку, на которую
первым «показательно» садится Роман. Воодушевлённый
кавалер передвигается ближе, потому
что на таком отдалении просто не говорят, но Света тут
же вскакивает, испуганно взмахнув руками.

«Пугливая Птица, – грустно думает Роман. – Хорошо,
хоть не улетела совсем. Теперь я знаю, как
тебя звать...» И усадить её уже не удаётся. То же проис-
ходит в третий и четвёртый вечера: Света
встаёт или отодвигается при малейшем подозрительном,
на её взгляд, движении Романа. А если
уж она поднялась, то для её нового усаживания требуется
специальная клятва о неприближении.

Роман же всё надеется заглянуть ей в лицо и в глаза, чтобы
проверить, могут ли сцепиться их
души? Да и какое тут может быть общение, если не видеть
глаза друг друга? Всё отрывочно,
односложно, натянуто, холодно, как будто каждый посто-
янно лишь сам по себе.

Однажды к ним подходят Боря со своей Кармен. Их заметно издали: свет луны в этот вечер такой ясный, что даже земля видится серебристо-беловатой. Боря, коротко похохатывая, рассказывает какой-то анекдот. Приходится и Роману перейти на анекдоты. Тоня смеётся открыто, заразительно. Она не так красива, как Света с её писаными чертами лица и персиковым цветом кожи. В Тоне вообще какое-то несоответствие: при полных губах – небольшие глаза и маленький носик. Её лицо привлекательно уже на какой-то последней грани: хотя бы чуть-чуть измени какую-то одну его чёрточку, и вся привлекательность уйдёт в минус. Но, кажется, в этой-то рискованности и есть главная изюминка её облика. Роман отмечает в ней и нечто новое, чего не помнил раньше – это забавные ямочки на щёчках, которые ему почему-то хочется назвать цыганскими. Хотя почему именно цыганскими и сам не поймёт – при чём тут цыгане? А ещё Тоню-Кармен красит счастье, просто плещущее из неё и будто вывернутое в лёгкое подтрунивание над тяжеловатым, медлительным Борей. Тот спокойно, с массивной ленивостью сносит её шпильки, делая вид, что больше увлечен транзисторным приёмничком с длинным

блестящим штырём антенны, который он

гоняет по всем свистяще-улюлюкающим волнам и диапазонам.

– Стоп, стоп, тормози! – останавливает его Кармен в одном месте. – Крути обратно колесо!

Боря беспрекословно выполняет команду своего командира, обрабатывая назад. А там песня:

Вот кто-то с горочки спустился,

Наверно, милый мой идёт.

На нём защитна гимнастерка,

Она с ума меня сведёт...

Певица поёт широко и с чувством:

– Какая песня! – восхищённо шепчет Кармен. – Тихо!

Всем тихо! Как красиво... По-человечески

красиво. Особенно это: «наверно, милый мой идёт». Как я всё это представляю. Как я люблю такие песни...

Эти слова «наверно, милый мой идет» она произносит с такой затаённостью, будто вынимает их

из собственной души, а потом так же мягко и бережно укладывает назад. Боря, снисходительно

хмыкнув и понимая, что это, на миг открытое чувство, принадлежит ему, обнимает Кармен за

плечи, и она, ещё мгновенье назад дерзкая, насмешливая и чуть высокомерная, словно осекшись,

доверчиво приникает головой. Света смущённо отворачи-

вається от такой сцены. А Роману снова

невольно вспоминается Люба. Вероятно, с ней-то ему было бы так же хорошо и даже ещё лучше, чем Боре с Тоней. Тоня куда ближе к Любе, чем Светлана, и поэтому Боре остаётся только позавидовать.

– А тебе, Света, как эта песня? – спрашивает Роман, пользуясь случаем, чтобы хоть как-то разговорить её.

– Эту песню я тоже люблю, – по школьному отвечает она. – Эту песню все любят.

Роман ждёт, что она добавит что-нибудь ещё, но это уже всё.

По тому же сценарию почти без слов проходит ещё несколько вечеров. Роман уже и сам не понимает, зачем ему эти прогулки при луне и без луны. Или ему время некуда девать? В этот вечер он, едва не вспотев от волнения и страхов, решает положить руку на плечо своей суженой, как воодушевлённо считает его мама. Света застывает, а потом, как обычно окаменело, отодвигается по скамейке.

– Зря ты так резко дёргаешься, – уязвлённо и уже с раздражением замечает Роман, – лавочка-то занозистая. Занозок насадишь. Каким пинцетом их потом выщипывать?

Он с усмешкой смотрит на Свету, понимая, что все её писанные черты становятся от её
холодности и нудной затянутости сценария сближения не притягательней, а всё безразличней и
безразличней. Да не нужна ему драгоценная целомудренность этой Пугливой Птицы, пусть она
оставит её при себе. Ему бы хоть какой-то краешек чувства, испытанного тогда в вагоне. Взять бы
Свету за плечи и заглянуть в глаза, как сделал это Витька с Любой. Вот тогда-то, может быть, и
прошло бы их души сквозной пронзающей молнией. Только и всего. Ему и нужно-то лишь чуть-
чуть ласки и внимания. Да он и сам оставит её как можно дольше нетронутой и заветной, если в
нём затеплится чувство. Но как относиться с теплом к холодной льдине? Скорее всего,
сдержанность Светы от наставлений матери и подготовки её в образцовые жёны. Конечно, в
будущем, помня такие примерные пионерские прогулки с ней, Свету ни в чём не упрекнёшь. Но что
делать с ней сейчас? Ходить, выжидать, уговаривать, скучно и молча сидеть на лавочке? А если
она и по жизни окажется такой же холодной и неприветливой? Откроешь, наконец, дверь этого
холодильника, а там – Северный Полюс! Главное же, что вся эта ситуация начинает затвердевать.

Мать смотрит на него теперь почти умильно и успокоенно, а Галина Ивановна, встречаемая где-нибудь на улице, – пристально и придирчиво, как на своего... И Роману кажется, что он входит в какую-то большую ложь.

И вдруг вся эта неловкая, тягостная диспозиция в одно мгновение ломается вроде как сама по себе и до изумления просто. Возвращаясь с очередного серого свидания со Светой, Роман

30

сталкивается около клуба с Наташкой Хлебаловой. Разговор сходу завязывается какой-то игривый.

Роман, вроде бы шутя, но осторожно, как и к Свете, притрагивается к ней и тут же, ещё и не успев

ничего осознать, прижимает полностью, чувствуя, что здесь ему позволено куда больше. Ещё

какие-то минуты назад женское представлялось Роману упругим, отталкивающим полотном, и

вдруг в этой неподатливой стенке обнаруживается мягкий, жаркий провал, в который уже само

звнящее тело ухает, как в воду, легко отмахнувшись от рассудка и всяких там принципов и

установок. Ох, как плавают Романа эти первые, но почему-то уже умелые объятия! Да что объятия!

Наташка позволяет ещё и не те головокружительные вольности. Вчерашний солдат шалет от её

тутого, свежего и, как ему кажется, очень уж женского тела в скользком шёлковом платье с красными маками, от запаха распущенных волос, пахнущих дневной сухой пылью, травой и вечерней свежестью, отчего-то особенно ощутимой именно в волосах. У Наташки всё как накаченное: и грудь, и попа – кажется, плоть просто рвётся из неё, всюду создавая упругий подпор. Время с объятиями, поцелуями и обжиманиями на какой-то случайной лавочке кажется сплошной охмеляющей ямой – его как будто нет, оно обнаруживается лишь на кромке, на берегу встречи в три часа ночи. Проводив Наташку домой до палисадника с густой черёмухой, Роман не может освободиться от накопленного желания. Пальцы помнят её тело, и эти ощущения так потрясающе достоверны. В брошюрках для юношей подобное желание советуется сбрасывать занятием спортом или какими-то увлечениями, вроде лепки из пластилина. Однако есть способ куда естественней и проще, которым можно запросто воспользоваться, спрятавшись в тень от забора. Отпущенное возбуждение позволяет заснуть дома, расслабленно раскинув руки и ноги. Ох, жизнь, какая же ты горячая! И, кажется, становишься всё более раскалённой!

На следующий день Роман переселяется из дома в тепляк в ограде, а вечером приводит туда

Наташку, снова, но уже не случайно найденную на улице. Всё сегодня с ней вроде бы так же, как и вчера, только заходит чуть подальше. Но это-то «чуть» и есть то, что описано поэтами, самыми пылкими сердцами человечества как великая тайна мужчины и женщины.

Домой он отводит Наташку на рассвете. Дом Хлебаловых стоит почти на окраине села, и в свете уже прозрачного неба видно, как к огородам от Она беззвучно крадется белый молочный туман.

Наташка, всё в том же платье с маками, идёт рядом, то и дело отступаясь на ровной дороге.

– Ты просто зверь какой-то, – улыбаясь говорит она.

– Ой, ну ты уж прости меня, – приобнимая и не замечая её улыбки, просит Роман.

У двадцатилетнего молодого мужчины это первая женщина, и его ничуть не смущает, что у его шестнадцатилетней девчонки он уже не первый. Голова слегка кружится от усталости и такой физической пустоты, что тело кажется полым. Нет, эта первая близость с женщиной не дала ему какого-то невиданного мирового растворения (обещанного теми же поэтами), зато она приносит такую лёгкую свободу от дикого, почти гнетущего жела-

ния, какую и ожидать было нельзя.

Освобождённый мир не блистает сейчас новыми вариациями и бликами, зато, как после очищения туманом, становится простым, понятным и непосредственным. Наверное, таким-то он и должен быть для нормального, полноценного мужчины. Сама же Наташка теперь куда ближе всех женщин на свете и, конечно же, ближе, чем Света Пугливая Птица, с которой потеряно столько холодных вечеров. Оказывается, для сближения мужчины и женщины не всегда нужны какие-то начальные серьёзные отношения и привязанности – с Наташкой всё обходится и лёгким мостком. Как это здорово, что её в любой момент можно взять и прижать к себе. Она просто своя.

– Ты на меня не сердись? – спрашивает Роман, обнимая свою женщину на прощание.

– А за что? – искренно интересуется она.

– Ну, за то, что я сделал это с тобой.

Наташка устало, но от души смеётся, и Роман, наконец-то, убеждается в том, что раньше лишь

смутно предполагал: оказывается, и женщине это тоже приятно. Как же это здорово тогда – делать

так, чтоб хорошо было и тебе самому, и ей! Как мудро это притяжение задумано природой!

На обратном пути по утреннему акварельно-прозрачному

селу Роман намеренно, словно

проверяя себя, вспоминает Любу и вдруг не находит её тени рядом со своей душой. И в этом уже

нет ни огорчения, ни печали: лишь та же необъятная новая свобода врывается в грудь, до боли распирая её.

Барьер преодолён. Теперь он уже знает, что такое женщина. Конечно же, глубоко, втайне он

хотел познать её, и находясь под впечатлением Любы, да не решался признаться даже себе. Но

теперь все его желания, ранее приглушаемые внутри, торжественно прорываются и с упоением

лупят в дребезжащие литавры. И ничего плохого в этом ликовании нет. Нет, потому что это простое

знание тоже придаёт мужчине особую значимость и вес. Разве не хотел он этого? Значимость-то,

она ведь не только в том, чтобы, извините, быть партийным... А, кстати, кстати, кстати...

Совместимо ли это? Как будущий коммунист он обязан соблюдать моральный кодекс. А тут явное

нарушение, перекос... Впрочем, об этом перекосе он думает после, но, конечно же, не в своё

первое по-настоящему мужское утро. Не надо портить его ничем...

Первыми о предательстве Романа сразу всей родительской коалиции (исключая Огарыша, не

входящего в неё), узнают Овчинниковы и сама Света. Недоступную Светлану потрясает измена

31

того единственного, которого она столько ждала и которого видела единственным на всю свою

жизнь. Понимая, чем взяла Наташка, она смотрит теперь на себя, как на последнюю дуру. Какая же

она глупая, глупая, глупая! Так любить, столько ждать и так всё испортить! Причём, испортить в то

время, когда ей и самой хотелось быть открытой, приветливой, когда у самой было желание

говорить ласковые слова и такие же слова слышать. Как хорошо стало ей тогда от руки Романа на

своём плече! Полжизни отдала бы теперь за то, чтобы он снова её положил. Но она-то, дурочка,

помнила в тот момент лишь то, что об этом прикосновении придётся выложить матери, отдавая все

слова – и услышанные, и сказанные самой... И что, теперь уже всё? А ведь её никто ещё никогда

не целовал. И она хотела, чтобы это сделал он! У Светы и теперь с запозданием, уже от одного

воображения, твердеют губы и кружится голова. Потерять всё это! Ну зачем, зачем всё это нужно

было знать маме? Зачем она расспрашивала обо всём? Переживая потрясение, Светлана впервые

в жизни отказывается говорить с матерью и в один день

превращается в маленькую, замкнутую, красивую монашку. Конечно, она не может вот так сразу перестать любить Романа, но что уже толку от этой испорченной любви? Такое не прощается, такое рвётся и теряется навсегда.

Разбился праздничный хрустальный бокал и его уже не склеишь...

Маруся узнаёт эту печальную новость утром в клубе от Галины Ивановны, вдруг явившейся на работу в костюме, чрезвычайно официальной, предельно статной и подтянутой. Некоторое время

после этого Маруся сидит, положив ладонь сверху на громадный выступ своей груди в той стороне, где примерно находится сердце. Галина Ивановна, поведавшая о случившемся, убита не меньше.

Прежняя душевная льдинка неприятия Романа перерастает в глыбу. И тот факт, что от её

красавицы-дочери отвернулся даже тот, кто, кажется, изначально не был достоин её, оскорбляет завклубшу до тла. Оскорбляет, но в то же время вызывает чувство растерянности – ведь на самом-

то деле он её достоин, потому что понравился и самой Галине Ивановне. Как же всё это понимать?

Кого же взрастила она, если от неё отказался этот странный достойно-недостойный парень?

Рассеянно поговорив, а после даже повздыхав и всплак-

нув, как при непоправимом, отчего-то

распылившимся счастье, женщины уже не находят соединяющего их тепла, чёрная кошка не

просто пробежала между ними, а массой зигзагов поисчеркала всю территорию их розовых

фантазий. Как неловко теперь матерям за этих своих полушутливых «сватей»... Намечтались,

называется...

Роман и Михаил мастрячат в это утро всё тот же штакетник. Марусю, спешащую по улице,

первым ещё издали замечает Михаил и молотком в руке указывает сыну. Появление её в это

время неправильно. Сейчас часы её «знахарского» приёма, и ей положено сидеть дома за столом

с чашками и самоваром. И уже по тому, как грузно и как-то грозно сотрясаясь приближается мать,

Роман почти наверняка догадывается, с чем она идёт. Шила в мешке не утаишь.

– Эх ты! – едва подойдя, выдаёт она ему, словно пришлѣпнув какое-то презренное клеймо.

Роман глубоко, виновато вздыхает и с независимым видом, но с решительной силой вбивает

гвоздь так, что плоский звук ударов эхом отлетает от белой стены правления совхоза.

– Ну-ка, скажи, чем тебе Светка-то не пара, а? – спрашивает мать, оттаскивает его за локоть от

штaketника. – Она чо, не брва для тебя, или чо? Така девка! Господи, така девка! На бедной

Галине Ивановне сѣдни никакого лица нет. Испереживалась вся. Хоть спроси, говорит, чем же это она ему не поглянулась? Чем же та-то лучше? А? Ну, чо ты молчишь, как полено?

Роман пожимает плечами, отскребая черешком молотка остатки пахучей лиственной коры от прожилины. Грустно и неловко вспоминать про Свету. Глаз её он так и не увидел. Не удалось проверить возможно сцепление их душ или нет...

– Скажи ей, что не сошлись характерами. Ну, как там поѣтся: «И пошли по сторонам – он заиграл, а я запела... Ой, легко ли было нам?» Вот так ей и пропой. Всѣ, мама, в жизни бывает.

У Маруси пропадают все слова, какие есть. Внезапно забывшись, она даже прислушалась, как сын озорно и дерзко спел эти строчки. Вот паразит так паразит, знает же, что ответить! Этот кусочек из её любимых и много раз пережитых частушек обезоруживает полностью. Бежала она сюда чуть ли не для того, чтобы надавать своему сыну, пусть и вчерашнему солдату, тумачков, и вдруг видит, что у того могут быть и какие-то свои соображения, которых ей уже и понимать не положено.

– Ну, ладно, погоди... – всѣ-таки на всякий случай мно-

гообещающе говорит она, поворачиваясь

назад. – Ты пошто криво штакетины-то лепишь? – вдруг нападает она на Михаила за его

принадлежность к тому же подлому мужскому племени.

– Ну, леплю тебе! Да я только примеряю! – мгновенно заводится тот, вот ещё бы тут, на

совхозных делах, не выговаривала ему жена! – Тоже мне, нашёлся прокурор из области, ходит тут

прямо по улице... Прокурор...

– А чо, мне по огороду ходить, или чо?!

– Вот и ходи по огороду!

– Ну, счас! Разбежалась! – огрызается, клокочущая от раздражения Маруся, удаляясь вдоль

свежего некрашеного штaketника, пахнущего смолой.

Роман совсем некстати чуть не прыскает со смеху. То, что мать рассержена – это ещё ничего.

Вот если бы она вдруг заплакала, тогда это было бы серьёзно. Наклонившись, чтобы отец не

32

видел лица, он берёт краешком губ несколько гвоздей и продолжает махать молотком.

Михаил же теперь невольно задумчиво замедляется. Мысли не дают хода рукам. Вот так

загадку они ему заганули: что же, было у сына что-то в самом деле или нет? Было что ли с кем-то?

Или просто за Светкой ходить перестал? Чудно, между

прочим, как сын вгоняет гвозди. Сам-то он, почитай, колотит их всю жизнь, а так не может. У сына же любой гвоздь влетает по шляпку с трёх ударов: первый примерочный и два конкретных. И хоть бы один гвоздь погнулся! Их что же, в армии и этому учили? Откуда эта точность и резкость?

– Ну, так кто же она така-то? – улучив момент, осторожно, как разведчик, но вроде как между прочим интересуется Огарыш минут через десять.

– Да ладно вам... – смущённо отвечает Роман, защищаясь от отца собственной спиной.

И тут уже по тому, как неловко и стыдливо уходит он от ответа, до Михаила доходит, что – всё!

Всё идёт как надо! За сына можно не переживать! Никакого ущерба в нём нет. Так что будущее обеспечено! Ух, какой каменюга-то кувырком сваливается с души! Огарышу становится так легко, что даже выпить хочется.

– Ну, ты сильно-то не того! – сходу прикрикивает он, входя, наконец-то, в свою настоящую роль.

– Ладно, видишь ли, ему! Башку-то тоже надо на плечах иметь! А то нагуляешься тут!

Эх, хорошо, когда есть сын, на которого можно и авторитетно прикрикнуть...

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Почему всё не так?

Роман не знает, куда от матери глаза деть за свои ночные похождения. Она, растерянная, в первые дни вроде бы и мирится с его свиданиями, но, узнав, что Наташка почти каждую ночь бывает у них в тепляке, едва не взрывается от возмущения.

– Ну, в общем вот что, друг мой ситцевый, – тяжело дыша, говорит она ему после первого шквала не самых изысканных выражений, – чтобы ты эту сучонку больше сюда не приводил! И не маши рукой-то, не маши! – кричит она, даже пристукнув кулаком по столешнице. – Вот придётся тебе на ней жениться, так попляшешь!

Брошенное матерью в сердцах заставляет присесть и задуматься. А если и в самом деле так?!

Ну, а что в таком случае делать? Это первая близкая ему женщина. Как обойтись теперь без

запаха её волос, без ощущений её упругого тела? Именно с Наташкой всё, вложенное в него

природой и определяемое отцом как «дурь», находит выход и успокоение. Уже само её

существование даёт Роману ощущение уверенности в жизни, делает его мужчиной. Никогда

раньше не чувствовал он себя таким трезвым и самодостаточным. Как же отказаться от неё?

Роман думает об этом целый день, гвозди влетают в шта-

кетины и прожилины, как в масло, а
решения нет. Да и как оно, это решение, придёт, если меч-
тается-то весь этот день лишь об одном:
скорее бы вечер и – Наташка.

Сломанного штакетника почему-то больше всего в центре
около правления совхоза

(специально его тут ломают, или что?), там, где всё дви-
жение села как на ладони. Отец, отмечая,
кто куда едет и что везёт, комментирует хозяйственный
смысл каждого перемещения.

Бестолковщины в этом движении, по его мнению, столько,
что раздражение своё он передаёт лишь
самыми доходчивыми, первыми и прямыми, незатейли-
выми выражениями.

Наиболее густым наслоением матов кроет он всякий раз
проезд коричневой директорской

«Волги». Эта машина умеет ходить как-то необычно: мед-
ленно, вкрадчиво, бесшумно. Даже в гору
она катится будто сама по себе, существуя вместе с хозя-
ином в отстранённом, чуть нездешнем
мире.

– Токо бензин зря жгёт, – злится отец. – Хотя чо же ему
не ездить? Залил с утра полный бак и
катайся себе. Ты думаешь, он куды-то по делу? Не-е-е. Вот
останови да спроси: Никита Дмитрич,
будь добр, скажи, куды поехал? Так вот точно говорю –

не знат.

Роману директор Трухин (которого за глаза называют Трухой) помнится по пожару, случившемуся у них в первый год его директорства, когда Роман учился ещё в десятом классе.

Тогда ночью загорелся склад с витаминно-травяной мукой. Трудно забыть эту захватывающую картину, когда огонь азартно и с хрустом пожирал дощатое строение с шиферной крышей, когда языки пламени багрово и дымно вплетались в живые зелёные кроны тополей над крышей. Листья сохли на глазах, горели, отрывались от веток и, искрясь, уносились в тёмное небо. Люди тогда стояли и рассуждали, что если уж этот склад горит, так пусть дотла и сгорит – строить новое на чистом будет легче.

И даже тогда, ночью, директор подъехал на своей коричневой машине, как будто днём она у него вместо пиджака, а ночью вместо пижамы. Солидно вылез из неё, осмотрелся, нахмурился.

Хорошо помнится его выдвинутая массивная челюсть и белёсые ресницы в плоских отблесках огня.

33

Трухина на тот момент в селе ещё толком не знали, потому что он был прислан откуда-то

райкомом для укрепления созданного совхоза. Наверху почему-то решили, что хорошим колхозом, который был здесь раньше, могли управлять местные председатели, а вот совхозом способен руководить лишь кто-то посерьёзней. Главная солидность и авторитетность первого директора совхоза заключалась в том, что он являлся депутатом двадцать какого-то (кроме парторга никто не мог запомнить, какого именно) партийного съезда. Правда, неугомонный Огарыш и сейчас комментирует факт его делегатства куда проще.

– Вот что такое съезд? – рассуждает он как-то дома, швыряя щами из кислой капусты. – Ну, съехались в Москву мужики со всего Союза, посидели в этом самом дворце, пошоркали маленько штанами бархатны кресла, речь послушали, котору мы тоже слышали, токо по радио и котору потом во всех газетах пропечатали так, что эта речь все остальные новости из газет повывадила.

Вот и всё. Разница токо в том, что они там ладошками пошлёпали, а мы в скобочках прочитали:

«аплодисменты», «долгие, продолжительные аплодисменты», или «бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию». Так оно чо, это шлёпанье, ума добавлят? Или если бы я, как тракторист, посидел там с галстуком на шее, так чо, у

моего трактора тяга бы утроилась, или на полях тот же хрен американский повымерз, ну или, в крайнем случае, скукожился? Так што ли?

– А ты бы прикусил язык-то да помалкивал со своим хреном американским, – выдаёт своё резюме Маруся, – а то он у тебя, как помело, метёт чо ни попадя. Гляди, дотрепишься...

– Но, дотрепешься тебе. Теперь уж годы-то совсем други. Возможно, сторонний директор знал, что следует делать в новом хозяйстве, да жаль, не ведал того, чего делать нельзя. Ошибка, которую не совершал до него ни одни местный председатель, состояла в том, что он допустил к власти Ураева Степана Степановича – хитрого, откровенно

наглого мужика, который эту власть спал и во сне видел. Обычно, когда в Пылёвской средней школе проходили «Мёртвые души» Гоголя, то ученики при знакомстве с литературным портретом

Чичикова сразу вспоминали Степана Степановича. Правда, совпадая внешностью с гоголевским героем, Ураев был куда хитрее его и жёстче. Обаяние же Чичикова отсутствовало в нём

полностью. Ездить быстро не любил, ездил не быстро и не тихо, а в самый раз, то есть, так, чтобы всегда поспевать, куда надо. Сладко лыбиться не умел, а вот гавкнуть – так об этом и не проси,

сам гавкнет.

Гордясь «открытием» такого способного хозяйственника и ценного помощника, Труха сходу назначил его управляющим первого отделения. Село, узнав о таком назначении, вздрогнуло и прижало уши, а несколько бывших колхозников ушли в отчаянный запой. Пожалуй, дата этого назначения стала моментом, начиная с которого грозный Труха по сути перестал быть полноправным директором. Уже года через полтора всё в совхозе оказалось подмятым Ураевым, а сам депутатный директор, так и не узнав толком нового хозяйства, стал при Ураеве кем-то вроде унылого завхоза. Его власть осталась внешней, на показ приезжому начальству. Когда же главным бухгалтером совхоза оказалась назначена жена Ураева, то и финансовое состояние хозяйства стало для директора туманным и приблизительным. Теперь же вся Пылёвка знает, что директор Трухин, управляющий Ураев, управляющие вторым и третьим отделением, а также заготовитель, собирающий мясо у населения с округлением цифр без граммов, завязаны в один пятерной пучок, можно сказать, в звёздочку, только далеко не октябратскую. С милицией и ОБХСС «звёздочка» дружит надёжно. Каждая проверка ОБХСС начинается

обычно рыбалкой проверяющих на островах, куда Ураев отвозит их на своей моторке, и той же рыбалкой заканчивается. И весь зримый эффект проверки состоит лишь в том, что на рыбалку контролёры уезжают строгими, прямыми и застёгнутыми, а возвращаются весёлыми, козыми и распоясанными. В последнее время они портфели-то возить с собой перестали. Если бы можно было подхватить нынешнюю Пылёвку какими-нибудь большими сказочными ладонями и перенести этак лет на двести назад, словно опустив в раствор времени гоголевских «Мёртвых душ», то можно было увидеть совершенно закономерную переплавку её. Все жители села превратились бы тогда в крепостных крестьян, а Труха, Ураев и остальные члены «звёздочки» в помещиков, в кровососов-эксплуататоров. Если же можно было бы из гоголевского времени перемесить какую-нибудь русскую деревню в наши дни, то тогда крестьяне переплавились бы в работников совхоза, а какие-то помещики влились бы в форму Трухи и Ураева. Любопытно было бы при этом понаблюдать за метаморфозой их лиц. За тем как властные, надменные и высокомерные, они постепенно становятся несмешливыми, внешне приветливыми, терпимыми. Но

суть-то этих людей та же. Эх, как не хватает им прежнего! Не снимают теперь перед ними шапки и не кланяются. «Что ж, – думают они, – мы своё и так урвём...»

Пока Роман служит в армии, Трухин и Ураев выстраивают себе по дому. Труха вламывает квадратный, громоздкий домино в центр села на школьную территорию между школой и сельским советом, поближе к паровому отоплению. Ураев возводит свой дом на окраине, на крутом живописном берегу Ононской протоки.

Бесхозяйственность, меж тем, царит всюду. Урожайность хлеба за последние годы падает, хотя открытый совхозный ток завален горами минеральных удобрений. Однажды потоком дождевой

34

воды их понесло по улице, и совхозный ветеринар, угодивший в эту плодородную минеральную реку по случаю получения в этот день спирта для ветеринарных целей, едва не отправился на тот свет, запив чистейший и честнейший спирт лишь глотком этого потока. Удои в совхозе снижаются, привесы падают, шерсти на овцах почему-то нарастает меньше. Но – чудо! Все планы совхоз выполняет. Секрет же выполнения прост – он в постоянном снижении («корректировке») самих

планов. Единственный в районе совхоз-маяк призван ярко светить, независимо от слабости его
батареек. Фраза «зона рискованного земледелия» произносится теперь так часто, что её пора бы
уж в виде транспаранта прицепить на покосившиеся ворота хозяйства, чтобы все случайно
проезжающие знали, что зона, о которой так много тараторят по радио, расположена теперь
именно тут. Ещё совсем недавно все понимали, что перед коровой, которой всё равно надо что-то
жевать, непогодой не оправдаешься: хошь не хошь, а приспособляйся и к жаре, и к дождичку,
однако приспособиться к государственной кормушке оказалось легче и выгодней: доброе
государство подаст и на погоду, и на непогоду.
Государство пособляет и рабочей силой, потому что с прежним объёмом работы
осовхозившиеся труженики уже не справляются. В хозяйстве появляются переселенцы из
западных частей страны, для которых государство поставляет брусовые дома. Переселенцы же,
скушав первую порцию манны небесной, но, так и не дождавшись добавки, вдруг обнаруживают,
что без добавки-то здесь то же самое, что и дома. Так дома хотя бы ностальгия не мучит. И они
возвращаются с тем, с чем приехали. Слава Богу, что по-

сле них остаются дома, чем, собственно,
переселенцы и полезны Пылёвке более всего. Жаль только, что по закону для них не полагается
строить клуб и школу, поскольку свои-то уж совсем прохудились.

Остановить обнищание хозяйства просто некому. Единственный положительный руководитель в совхозе – парторг Таскаев, который хорош как раз лишь тем, что ничего не тащит сам, то есть
хороший лишь за то, что не плохой, а не за то, что истинно хороший, как говорится в стихотворении
популярного среди молодёжи поэта Эдуарда Асадова.

На службе, слыша призывы на разные комсомольские стройки, Роман недоумевал: почему это
ударно работать следует только там? Байкало-Амурская магистраль, куда зазывают задорней и
песенней всего, срезает северную верхушку их Читинской области и, как твердят и убеждают радио
и газеты, благотворно преобразует там всю жизнь. Но почему эта жизнь не должна улучшаться

южнее, там, где живёт он с родителями и земляками?! Да ведь если ты к чему-то способен, то
признание земляков куда дороже признания интернациональных людей на стройке.

Программа, выработанная им и Серёгой, предполагает, что для нормальной жизни в селе

людям надо всеми средствами держаться привычного уклада, оставшегося с колхозных времён. Но то, что творится здесь сейчас, похоже на анархию. Людям-то, оказывается, любо и пьянство с воровством. Тут уже и укреплять нечего – этот уклад успел до фундамента рассыпаться за какие-то два года – тряхнуло дом, и он распался на кучу кирпичей. Сельчанам уже не платят зерном за каждый трудодень, а «культурно» завозят в магазин хлебные кирпичи, чтобы их можно было покупать на выплачиваемые деньги. И потому уже сейчас собственные караваи в селе – редкость, а вскоре по всей Пылёвке и духа настоящего хлеба не учуешь. Русские печи за ненадобностью разбираются, а вместо них ставятся компактные очаги с колосниками для отопления. В доме Мерцаловых печь ещё стоит, только вот и Маруся не вспомнит уже, когда топили её последний раз: своей муки нет, а в том, чтобы стряпать хлеб не из своей муки, а из покупной, есть уже что-то неправильное, неудобное, некрестьянское. Так что, эта печь и впрямь вроде бы не нужна. А ведь с каким душевным, ностальгическим теплом вспоминаются теперь Роману утренние пробуждения в детстве от щёлканья дров в большом зеве печи... Лежишь за ситцевой светленькой

занавеской и любишь игру пламени на белёных, тогда ещё нештукатуреных бревенчатых стенах. И слышишь запах лепёшек, которые мама тут же, под большим языком пламени, гнутым потоком улетающим в трубу, печёт из кислого хлебного теста в чугунной сковородке. Для того, чтобы кислые лепёшки не поднимались на жару, она тычет их кончиком ножа, и эти штришки похожи потом на какой-то специальный рисунок, на изображение быстро летящих капель дождя.

Лепёшки, подсохшие на краях, вздутые кое-где коричневыми пузырями, похрумкивают на зубах, и как вкусны они с молоком! Как не хватает теперь этих лепёшек не столько для пищи, сколько для полноты самого бытия. И вообще, как недостаёт теперь в селе прежнего душевного уюта. Ведь если этот уют приглушается в каждом доме, то меньше его становится и во всём селе, во всей стране даже, наверное. Отец страдает от этого болезненно. Иногда, покипятившись и поругавшись, он спохватывается:

– И чего это я, дурак, завожусь, чего дёргаюсь? Жил бы в своё удовольствие, как Матвей.

Что ж, это тоже вариант. Сосед Матвей Матвеев, или просто Мотя-Мотя, ещё несовершеннолетним стрелял из дробовика в одного стар-

шеклассника, который издевался над

ним. Слава Богу, не убил, но в колонию загремел, а там – пошло-поехало, и для того, чтобы

образумиться, Матвею потребовалось суммарно восемь судимостей и семнадцать лет тюрьмы. На

Катерине он женился во время третьей краткой свободы, и Катерина потом только то и делала, что

ждала, встречала, а потом снова провожала Матвея на его странную отработку очередного куска

35

свободы. Теперь из-за здоровья, подорванного такой рваной судьбой, Матвей избегает всякой

физической работы: работает либо сторожем, либо кочегаром. В селе Матвей имеет две славы: как

самый заядлый и удачливый рыбак и как фанатичный мотоциклист. Говорят, что его «Урал»

заводится с одного взгляда на рычаг. Ну, конечно же, это враньё: на самом деле этот рычаг всё же

требуется чуть-чуть ткнуть ногой. И тогда двигатель начинает ровно, спокойно и почти по

голубиному ворковать. Впрочем, этот «голубок» воркует не всегда. Всё зависит от кого и как

уезжает Матвей. Бывает так, что сам-то он уходит вроде бы спокойным, а его мотоцикл, отъезжая,

вдруг взревёт глухим, утробным рыком. Вряд ли знаменитый лермонтовский Казбич так любил

своего коня, как Мотя-Мотя обожает свой мотоцикл, и потому прозвище «Мотя-Мотя» – имеет, пожалуй, и эту добавочную, можно сказать, «мототень». Приезжая к кому-нибудь в холодную погоду, Матвей никогда не засиживается настолько, чтобы остудить мотор: дополнительно подсасывать бензин и более раза дотрагиваться ногой до рычага – ниже его достоинства.

Однажды, видя, как Матвей выгоняет мотоцикл на улицу, чтобы ехать куда-то, Роман спрашивает о странных пятнах на трубах мотоцикла. – Так это накипь, – поясняет Матвей. – Езжу ведь и в дождь, и по лужам.

Это даже как-то сомнительно: сколько же надо лить на хромированные трубы самой разной воды, чтобы так накипело? А сколько накипи от дождей, ветров, луж, пыли и двойного солнца (посиди-ка с удочкой на берегу, перед зеркалом воды) на коричневом лице Матвея?

Вообще Матвея почему-то хочется уважать за всё, невзирая на его «зэковскую» биографию.

Даже за то, что у него отсутствует понятие домашнего уюта. Заходя к Мерцаловым, он обычно не видит чистых половиков, смело ступая по ним в своих пыльных сапогах. Но это как-то понятно и естественно. Просто этот человек принадлежит не уюту, а

дорожной пыли, воздуху, реке и мотоциклу. Таким он и остаётся хоть на улице, хоть в доме. А вот знает ли он, например, имя-отчество того же Трухина – это вопрос. Ему хватает и своего мира. Но так могут не все. Жизнь

Матвея можно принять лишь как исключение, потому что народу без уклада нельзя. Иначе он уже не народ. И ничего он тогда не сделает и не построит.

В середине лета в совхозе снова сгорает склад с витаминно-травяной мукой. Причина пожара оказывается той же, что и несколько лет назад – бумажные мешки с горячей мукой поспешно, не дав им остыть, штабелюют в складе, и мука самовозгорается.

И вообще нынешний пожар похож на прошлый до мелочей. Как на кадре дубль-два большой рыжеватый Труха с совершенно белыми ресницами подьезжает на той же коричневой «Волге» и неуклюже выбирается из неё.

– Вон, рублики-то в воздух улетают, – ехидничает кто-то в это время из толпы, указывая на улетающие в воздух горящие листья.

– И что за люди! – с досадой бросает директор, пройдясь по фронту наблюдателей. –

Государственное добро горит, а они любуются стоят. – И, вспомнив их колхозное прошлое,

ругается: – Единоличники хреновы!

Но тут он и сам почему-то останавливается, зацепившись взглядом за пламя и глядя на пожар, как на какой-то банальный пионерский костёр. Конечно же, правда в его словах есть. Вначале вспыхнувший огонь можно было залить несколькими ведрами, но никто их не принёс – зачем лишаться зрелища? Колхозная закваска выветрена из людей напрочь. Если при первом пожаре склад ещё пытались как-то потушить: бегали, суетились, матюгались из-за того, что в совхозе нет пожарной машины после списания старой колхозной, – то теперь уже кроме восторга от зрелища на лицах нет ничего. Толпа и толпа. Горит склад – и пусть горит. Хотя на прошлогоднем пожаре двух смежных, через стенку, магазинов – продуктового и промышленного – было всё иначе. Там тушили во все лопатки, были даже слегка пострадавшие. Ревизия потом установила, что в промышленном магазине было спасено почти всё, в продуктовом сохранилось чуть меньше. А вот водка, что характерно, выгорела начисто. Яблочный сок с мякотью в трёхлитровых банках выстоял (уж такой он молодец!), а водка, в силу своей известной горючести, сгорела вместе с бутылками.

Мужиков же, отличившихся на пожаре, потом ещё неделю

пошатывало по всему селу от дыма и усталости.

После пожара обоих Мерцаловых перебрасывают со штакетника на строительство нового склада. И тут-то Роман впервые видит, как плохо и неохотно может работать отец.

– Ну, вот подумайте, – говорит Огарыш плотникам, собранным сюда со всех отделений, – какой

дурак-учёный придумал молоть траву и сушить её солярой, если в поле солнце и задарма её

высушит? Может быть, где-то на Западе это и подходит, но не у нас же в Забайкалье, где для

сушки и солнца хватат! Так ведь сеном-то корова токо похрустывает, а этой мучки сыпанул чуть

больше ложки, и корова тут же, через пять минут, обдристалась. Эта же мучка в брюхе-то не

держитца. Вы поглядите, её у нас даже никто не ворует. Вот разве что тем-то она и хороша.

Поначалу Роман лишь посмеивается над его критикой: как поверить, что эти основательные

массивные машины для приготовления муки – пустая или даже, как доказывает отец,

вредительская затея? Да ведь на эти машины работают целые заводы – считай, часть

металлургической промышленности. Однако, к удивлению Романа, мужики с отцом соглашаются

полностью: им ли не знать естественной реакции коров на этот корм? Их согласие расхолаживает и

Романа: зачем же тогда вообще нужно всё это производство со складом? А в чём, кстати, смысл

вообще всех его планов? Разве он способен лишь на то, чтобы породить штакетник или этот

ненужный склад? Где те преобразования, в которые он, согласно совместным планам с Серёгой,

должен активно включиться? Читая отцовские письма в армии, Роман думал, что отец сгущает

краски, что здешняя неразбериха лишь от какого-то местного недоразумения, от недомыслия, что

ли... Ведь преобразование колхозов в совхозы идёт по всей стране. Кроме того, судя по

сообщениям радио и газет, опыт советских совхозов перенимают и другие социалистические, а так

же развивающиеся страны. Значит, всё это правильно, в русле прогресса. Это здесь, в Пылёвке,

происходит что-то не то. Надо лишь найти способ органично влиться в эту жизнь, чтобы по-

настоящему в ней участвовать и изменять к лучшему этот местный пунктик. Только вот где именно

этот вход? Как туда войти? Наверное, всё-таки через партийную организацию совхоза. «Обо всём

этом, – думает Роман, слушая отца, – надо не здесь ми-

тинговать, а на партийном собрании

высказаться, чтобы руководство знало настроение людей». А фактов набирается прилично. Может

быть, обо всём и выложить сразу на том собрании, когда его будут принимать в члены партии,

поскольку кандидатский срок уже истекает? Было бы замечательно, если бы вместо того, чтобы

задавать ему вопросы по Уставу Партии, как это обычно делается при приёме, ему бы сказали:

«Вот ты давно уже не был дома. И каким же ты находишь нынешнее состояние дел? Прояви свой

зоркий партийный взгляд. Ведь со стороны-то, как говорится, виднее. Шибко уж нам интересно, как

ты это видишь». И вот тогда-то он бы встал и спокойно изложил всё, что думает. «А что, товарищи,

– сказал бы после этого парторг Таскаев, – товарищ Мерцалов в чём-то и прав. Конечно, он ещё

молод. Но от его свежего, непредвзятого взгляда не скрывается ничто...» Вот это было бы начало!

Трудно сказать, возможно ли нечто похожее на самом деле? Может быть, не такая уж это и

фантастика? Значит, надо на всякий случай к этому готовиться. Есть и ещё одна зацепка. После

приёма на партийном собрании ему предстоит утверждение в райкоме, где он должен получить

партийный билет. Так, может быть, эту свою речь, хотя бы

в каком-то кратком виде, произнести там, если не получится здесь?

Партийное собрание совхоза, к которому он тщательно внутренне настраивался, происходит на одной неделе с пожаром. Предстоящее событие пугает Романа и возможным позором. А если его спросят там про Наташку? О том, как совместить его аморальное поведение с принципом нравственной чистоты морального кодекса строителя Коммунизма, как части Устава Партии? Ну, что он может ответить собранию, если и сам в себе ничего понять не в состоянии? Позор перед сельчанами просто недопустим. Если такое случится, то он уже будет для них никто. Да и не это главное. А если Наташка и впрямь забеременеет? Он, конечно, не допускает этого как может, но вдруг какая промашка в такой ещё новой стороне жизни? Уж в роли жены-то он её точно не видит.

Да уж, однако, смотреть со службы на гражданку и строить планы – это одно, а жить этой жизнью – совсем другое. Вроде бы только полноценно жить собрался, а вокруг уже всё осыпается:

в делах сердечных – полный крах, в жизненных целях – каша. А Люба ещё напутствовала его тогда: «Ты счастливый, ты знаешь, чего хочешь». Да уж, знаешь... Чего знаешь-то? Ну,

предположим, расстанется он с Наташкой, а дальше что? Другую искать? И что это изменит? Тем более, что с Наташкой и расставаться не хочется. Оставить её – значит предать. Но как предать того, кто к тебе привязался?

Однако представление самой Наташки о привязанности оказывается иным, и она неожиданно решает проблему сама, даже не зная, что такая проблема есть. Точнее, решает-то не она, а какой-то студент, приехавший в Пылёвку в значках и размалёванной куртке ССО. Дрогнув перед значками и размалёванностью куртки, Наташка так же случайно сталкивается с ним вечером на улице и исчезает для Романа. Исчезает вроде бы и проблема, но для Романа это шок.

Представить, что скользкие шёлковые маки на её платье теперь точно так же, как он, загребают какой-то прыщавый студент, даже не служивший в армии – это выше всяких сил. Подмывает, конечно, найти этого студентика, да морду ему начистить. Так подмывает, что даже кулаки чешутся, уже забывшие ощущения ударов. Да только студентик-то здесь при чём? Ох, как тяжело, оказывается, быть брошенным. Однако ж, что тут поделаешь? Всё – улетела красавица, яркая и обжигающая как бабочка. «Вот как Бабочку я и буду её

вспоминать», – грустно и убито думает

Роман.

Главная тема собрания – вопрос о роли партийной организации в деле подготовки к осенне-

зимнему периоду и заготовки кормов. Но о пожаре, имеющем самое непосредственное отношение

к кормам, – молчок. В докладе Таскаева, написанном заранее, видимо, было что-то и о сгоревшем

складе, но, судя по его запинкам и неловкому пробрасыванию отдельных страниц, все это

поправлено и вычеркнуто. И это как знак всем остальным выступающим – об этом лучше

помалкивать. Шум поднимать не стоит. Газеты об этом не пикнут: в образцовых хозяйствах таких

пожаров не бывает. Тем более, пожаров из-за нарушения технологии производства витаминно-

травяной муки. Тем более, что эту муку ещё ни в одном другом хозяйстве района не производят, а

производить должны, опираясь на опыт Пылёвского хозяйства. А если должны, значит, будут. И

37

нечего со своим пожаром переть против политики.

Вопрос о приёме в партию Романа Мерцалова стоит последним, когда всем уже хочется на

воздух, а с задних рядов даже наносит папиросным дымом. Не затягивая время, сам Таскаев

задаёт вступающему два простейших вопроса по Уставу, и все голосуют «за» ещё до того, как он ответил на последний. И зачем надо было столько волноваться!

В понедельник свежий коммунист Роман Мерцалов едет в райком для утверждения. День

невероятно жаркий. Романа, всю дорогу сидевшего с солнечной стороны, у заклиненного стекла,

нажигает так, что, оказавшись в райцентре, он первым делом ищет, где бы отпиться. В знакомой

столовой, недалеко от автостанции, продают холодную воду с грушевым сиропом. Роман берёт

сразу три отпотевших гранёных стакана, садится за только что протёртый столик. Вкус сиропа

отдаёт детством – когда же он пробовал его? И вдруг, словно очнувшись, озирается по сторонам.

Да ведь здесь же, в этой столовой и пробовал. Только это было зимой, они заходили сюда с отцом.

Почему отец зимой купил ему сироп? Видимо, просто попробовать давал, потому что самому

нравилось. А у него тогда были новые валенки! И, главное, в тот день был куплен фотоаппарат,

прошедший потом с Романом всю армию. Здесь, у окна, в кадке стоит всё тот же фикус, только

теперь он куда больше. А в кадке и сейчас, чего доброго, всё так же натыканы окурки. Именно в

тот-то день он едва не погиб под автобусом. «Ох, бедный-бедный батя, что пережил ты тогда из-за

меня, дурачка!» А в столовой за столько лет не изменилось ничего. Что же касается напитка, то

Роман часто вспоминал его вкус, не зная названия этого сиропа. А вот теперь знает точно – на

ценнике было написано «грушевый». Как же это здорово, что многое остаётся неизменным. Только

вот он-то уже не тот пацан, и ему требуется принимать какие-то серьёзные решения.

Пауза перед визитом в райком, пожалуй, необходима. Как вести себя там? Сказать ли об

истинной совхозной бесхозяйственности, о ненужном, дорогом производстве витаминно-травяной

муки, о пожаре, который почему-то скрывается? Ну не убьют же его там за это! Хотя, конечно,

сначала следовало сказать об этом на собрании. А то вроде как кляузник какой. Но как там

скажешь, если твой вопрос был последним, а до этого ты ещё не был коммунистом и не имел

права голоса? «С другой стороны, не в шайку же меня впустили, где должен обо всём помалкивать,

а в партию. Если промолчу с самого начала, значит, сразу стану таким же, как они. И потом меня

уже не перелицевать. Значит, и дальше буду помалкивать. Но опять же, не прими они меня, так я и

вовсе не имел бы возможности выступить против них. Это ещё и на предательство смахивает. И что же делать?»

И тут как подсказка или подковырка какая: где-то в глухине кухни врубается магнитофон с хриплым голосом Высоцкого:

Почему всё не так? Вроде, всё как всегда:

То же небо – опять голубое...

В общем, песня-то, конечно, о другом, а вовсе не о таких проблемах. О друге, не вернувшемся

из боя, поёт Высоцкий, но этот вопрос – «почему всё не так?» – как будто адресуется сразу ко

многому. Он какой-то актуальный сейчас. Помнится, ещё в школе учительница говорила, что

писатели в русской литературе никогда не боялись задавать самые принципиальные вопросы,

типа: «Кто виноват?» или «Что делать?» Значит, и Высоцкий добавил ещё один из таких вопросов:

«Почему всё не так?»

Странный этот Высоцкий, необычно он поёт, не так, как все. Другого такого певца и близко нет.

Главное, не боится ничего, прёт по-своему. Вот бы с кем поговорить! Ну, ладно, помечтал и хватит.

Так что же всё-таки делать? А, да ладно – обстановка подскажет. Пусть на собрании в совхозе всё

скомкалось, но, может быть, тут спросят: «Вот ты как мо-

лодой коммунист вливаешься в партийную организацию совхоза. Как, на твой свежий взгляд, обстоят дела в хозяйстве? Какие там, по-твоему, имеются недостатки, требующие устранения?» И, конечно же, после этого вопроса молчать будет уже нельзя. Так что, пусть только спросят.

Роман поднимается из-за столика, распрямляется. «Господи, да ведь я же – Справедливый, – вдруг вспоминает он, невольно ощущая на себе чистый скрип крахмальный рыцарской рубашки, – да какая разница, спросят меня о чём-то или нет? Я должен быть выше всяких страхов, выше всякой суждений о каком-то моём предательстве. Выложу им всё, и будь что будет!»

Какая необыкновенная свежая прохлада и притенённость в райкомовском коридоре! Хочется даже посидеть немного в мягком кресле под фикусом с протёртыми, блестящими листьями, чтобы отойти от уличного пыльного зноя. Роман идёт по коридору, читает таблички из плексигласа с фамилиями разных работников, аккуратно и прочно привёрнутые на стенах около высоченных дверей, видит мягкие ковровые дорожки ровно в ширину коридора: то ли коридор делали под дорожку, то ли дорожки специально выпускались для типовых по всей стране райкомовских

коридоров? И почему-то чем дальше идёт он этим мягким, ласковым путём, тем больше убеждается, что здесь, в этой прохладе и устроенности, никому никакие разоблачения не нужны.

Весь ритуал его партийного утверждения состоит в спокойном, канцелярском оформлении

38

необходимых бумаг и выдаче билета. Выдача сопровождается, правда, рукопожатием с разным районным начальством, случайно подвернувшимся тут. Все они улыбаются и поздравляют, вроде как равного. Заговорить с ними в этот, всё-таки торжественный момент, о каких-то совхозных

промахах – значит просто оказаться невежливым, то есть, тут же ткнуть их носом в то, что они

недосматривают в хозяйствах. Все эти люди очень представительны, при галстуках и костюмах, и

от этого кажется, что дела их невероятно государственные и куда более важные, чем дела в

Пылёвке. С ними, такими значительными, как-то даже и не подходит говорить о всяких мелочах. А

значок депутата (такой же, как и у Трухи), на лацкане у одного из пожимающих руку и вовсе

заставляет очнуться и протрезветь. Люди с одинаковыми значками договорятся друг с другом куда

скорее, чем он договорится с кем-нибудь из них.

...Автобус пылит по шоссе, пересекая широкие, чуть холмистые степи, и хотя в салон тугой подушкой давит свежий поток воздуха, всё равно душно, потому что в автобусе почему-то работает отопление, которого на зиму, вероятно, уже не хватит. .

«А, собственно, что они для меня, все эти совхозные проблемы? Ну вот нафиг они мне нужны?» Муторно на душе. На совхозном собрании боялся сказать о пожаре, в районе тоже боялся, найдя причины, которых и сам теперь не поймёт.

Что же за страх такой неявный и противный, как ком дерьма?! Да ведь предложили бы ему сейчас: вот тебе два прапорщика Махонина, которые уработают тебя так, что ты потом в зеркале себя не узнаешь, и он бы, усмехнувшись, ответил: «А давайте прямо сейчас! Чего тянуть с хорошим делом?» А как этот нынешний страх понять? «Почему я не способен проявляться в таких ситуациях? – спрашивает себя Роман. – Чем эти ситуации сложнее?» Не это ли имел в виду удивительно дальновидный Махонин, пророча Роману, что он будет всю жизнь махать с жизнью, да только, судя по всему, впустую? Что же, это предсказание уже сбывается? Ведь первый раунд, судя по всему уже проигран...

А если задуматься в целом обо всех своих планах, в кото-

рые он потом письмами и Серёгу

втянул, то откуда они? От чего взялись? Ну, вот если гла-
боко внутрь себя влезть? Да, скорее всего,

от нелепой мечты раннего детства – выучиться и работать
волшебником. Что же, выходит, это ещё

не напрочь выветрено из головы? Оказывается, в армии
эта нелепая мечта независимо от него

переплавилась в такие вот фантастические планы: жизнь
ему, понимаешь ли, в селе захотелось

полностью по волшебному перестроить. Ну, так, для на-
чала... Да ведь тут и впрямь надо колдуном

или волшебником быть, чтобы всё перевернуть. Так что
надо ещё раз, как когда-то в детстве

сказать себе: «Волшебников не бывает, волшебников не
бывает, волшебников не бывает. И потому

живи-ка ты себе самой нормальной жизнью».

Твёрдая обложка партбилета в кармане ничуть не греет
душу. Когда-то был запал, и были

планы, ради которых хотелось быть партийным челове-
ком. А на деле это вступление прошло,

будто по инерции этого, уже, оказывается, умершего запала.
Теперь о планах и думать не хочется.

Вот если честно, то кого больше всего он запомнил в рай-
коме и о ком приятней всего теперь

думать? Да молоденькую голенастую секретаршу в приём-
ной, когда разное начальство жулькало

его руку. Секретарша, конечно, не подходила и не поздравляла, а лишь плеснула зеленью глаз, давая понять, что он-то ей куда симпатичней, чем эти чинуши, упакованные в пиджаки и увязанные галстуками. Вот это памятно и приятно. Эх, жаль всё-таки Бабочку Наташку. Не хочется расставаться с ней. Хотя уход её неудивителен. «Если она прилетела от кого-то, значит, так же легко должна улететь и от меня». Кем только заполнить её место? То-то и оно – чего боялся, то и происходит; Наташка – это лишь начало. Что же дальше? А дальше то, что мокрому дождь уже не страшен. Глядя на степи, плавно стелющиеся за окном автобуса, Роман думает о том, что обманывать себя он больше не хочет. Женщина-жена ему уже не нужна. Он через это переступил. И теперь хочет всех. А их так много! Мир женщин – это сплошной эротический океан, противостоять которому невозможно. А он и не хочет ему противостоять...

Автобус приходит в Пылёвку в тот час, когда с поля гонят коров, и люди встречают их на окраине села. Коровы, важно переваливаясь, шествуют по центру улицы. Роман, сойдя с автобуса у магазина, идёт им навстречу, ощущая, как отходят отекавшие за дорогу ноги. Навстречу попадает

парторг Таскаев, прутиком подгоняющий свою пёструю корову с обломанным рогом.

– Ну как? – даже с некоторой тревогой спрашивает он.

– Утвердили, – словно отмахнувшись, вяло сообщает Роман.

Таскаев, не выпуская прутика, хватая его ладонь обеими руками, так что кончик прутика,

размочаленный о коровьи спины, мелькает перед глазами обоих.

– Поздравляю! От всей души поздравляю с таким важным событием в твоей жизни, – говорит он

среди коров: мычащих, поднимающих пыль с дороги, роняющих смачно брызгающие лепёшки. –

Постарайся на всю жизнь запомнить этот момент! Теперь ты полноценный член нашей Партии!

Слова парторга полны искреннего участия и неподдельной доброжелательности. Удивительно,

что этот взрослый мужик живёт в своём каком-то придуманном мире, в каком-то ложном

измерении, которое он ловко подстраивает к тому, что происходит вокруг него на самом деле. А с

чем он поздравляет? С тем, что впервые пришлось сломаться и по-настоящему сдрейфить? С тем,

что с этого момента он уже не Справедливый? Не послать ли подальше этого парторга?

Отец дома реагирует на его партийное утверждение иначе.

– Ну и что? – спрашивает он за ужином вроде как случайно.

– Приняли.

– Ну-ну, – неопределённо бормочет Огарыш, – что ж, коммунисты – люди чисты...

Роман ждёт какого-нибудь толкования этой реплики, но отец молча поднимается, подходит к

тазу под умывальником, просмаркивается и, ополоснув руки, снова садится за стол. Мать же и

вовсе не говорит ничего. Роман невольно усмехается: если вспомнить, на каких матюгах пронесла

она его недавно по поводу Наташки, так какая ей разница – партийный он или нет?

...Конечно же, наибольшая глубина того эротического океана, что не даёт теперь покоя,

находится в городе, куда Романа тянет уже, как хищную рыбу. Не будешь же здесь, в Пылёвке,

знакомиться то с одной девчонкой, то с другой. Тут всё, как на ладони. Зачем позорить и себя, и

родителей? А город большой, там друг друга все не знают. И потому город развратней уже от своей

величины. Вот оно, настоящее место для проявления энергии! Влечение к женщинам ощущается

теперь как неугомонная энергия внутри себя. О том, что молодёжь уезжает из села, пишут во всех

газетах, объясняя это явление разными социальными и экономическими причинами: отсутствием в сёлах спортплощадок, хороших кинотеатров, занятий по душе... Но кто знает, отчего она, эта

молодёжь, уезжает на самом деле? Сослаться можно на что угодно. Спроси сейчас об этом

Романа, и он тоже ответит первое, что на ум придёт, например, то, что здесь ему не нравится клуб...

Однажды вечером они стоят у этого клуба с Тоней Серебрянниковой, поджидающей Борю.

– Интересно, а вот чего ты хочешь в этой жизни? – спрашивает её Роман.

– Только одного – замуж за Борю! – восклицает Кармен. – Я люблю его так сильно, что сильнее уже нельзя. Я нарожаю ему столько детей, сколько он захочет. Я хочу быть просто хорошей женой и хозяйкой.

И надо слышать её голос, видеть её глаза и милые цыганские ямочки, когда Тоня, струясь

пылким чувством, провозглашает свою простую задачу. Будь она сейчас спокойна, то, наверное,

для целой жизни этого дела было бы маловато, но замешанная на *таких* чувствах, жизнь её

кажется уже плещущейся через край. И если бы Тоня сказала свои горячие слова, думая не о

Боре, а о нём, то тогда можно было бы и от города отказаться. Да *ещё* можно было бы отказаться.

И никаких значительных планов больше не иметь. Однако и теперь это предназначено для другого.

И снова вечером трудно заснуть. Это что, уже какая-то система, что он на полшага отстаёт от других? Да ему надо было на Тоню внимание обратить, а не с холодной Пугливой Птицей время терять...

Подводя родителей к мысли о своём отъезде, Роман намеренно вздыхает о скуке в селе, о

бесповоротной бесхозяйственности, о том, что надо какую-то профессию приобретать. Отец хмурится, вынужденно соглашаясь с ним и совершенно ясно догадываясь, куда он клонит. У

Маруси и Михаила опускаются руки. Выходит как раз то, чего они боялись: сын отрывается от них

и, возможно, уже навсегда. Как его потом сюда вернёшь? А ведь он дорогой, единственный...

Жалко его отпускать.

– И куда же несёт-то тебя? – с безнадёжностью говорит мать, когда уже упакованный чемодан

Романа стоит у порога. – Мы ведь тебя так ждали... Оставался бы. Женился бы... Ох, от такой девки отвернулся... Дурак ты дурак...

– Спасибо, хоть благословила, – с грустной, виноватой

улыбкой отвечает Роман.

Огарыш смотрит на Романа со смешанными чувствами. Из армии сын пришёл каким-то странным, зато теперь он уже как все, поступки его понятны. Но, наверное, для жизни это лучше и надёжней.

– Эх, Ромка, Ромка, – со вздохом, как бывало в детстве, говорит он и вдруг добавляет, – а ещё партийный...

Это словно удар под дых. Отец хорошо понимает истинные причины, которые гонят его в город.

Лицо Романа вспыхивает стыдом. А что тут ответишь? Что изменишь?

Марусю и Михаила мучит вина: сыну о его истинном происхождении так и не сказано ничего.

Если только он уже не знает этого от других. Заговорить об этом, пока он был рядом, не решились, а уж при отъезде и вовсе. А если он из-за этого возьмёт, да и отпадёт насовсем?

ГЛАВА ПЯТАЯ

Покорение открытого города

В Чите Роман Мерцалов сходу устраивается учеником электромонтёра на завод (ребята после армии ценятся всюду) и одновременно поступает на курсы электромонтёров. Учеба, совмещаемая с практикой, совсем не трудна, да и прямые его обязанно-

сти на заводе пока что просты: разобрать
и промывать в лёгкой, почти воздушной на ощупь солярке
грязные электромоторы, потом

40

смазывать их и собирать. Кроме того, в обязанности ученика входит замена длинных, как палки,
постоянно умирающих неоновых ламп на самой верхотуре цеха при помощи очень высокой
расхлябанной стремянки. Обязанности свои он, оказавшись в строгой обстановке, исполняет по-армейски чётко и без рассуждений.

Где-то здесь же, в Чите, живёт Серёга Макаров, и хорошо было бы его отыскать. Судя по его

адресу, они обитают в одном районе города, ходят по одним и тем же улицам, видят одних и тех же

прохожих, только сами пока никак не столкнутся. Хотя, конечно же, нелепо старым, лучшим

друзьям встречаться случайно. Желание отыскать Серёгу отчётливо держится первую неделю, а

потом как-то незаметно стихает. И на это есть причины.

В детстве их дружба начиналась с вражды. Оба – единственные и оттого очень дорогие для

родителей дети. Правда, Роману даётся от этого полная свобода во всём, а отличнику Серёге

достаётся полная неволя. Мать его, Надежда Максимовна, буквально глаз с него не сводит. Серёга

какой-то неловкий, у него постоянно что-нибудь ушиблено: не одна рука, так другая, не рука, так нога. Он почему-то падает там, где другой никогда не упадёт, ударяется там, где другой не ударится. Скорей всего это из-за двух его физических изъянов. Во-первых, из-за непропорционально большой головы, лишаящей Серёгу всякого равновесия, а во-вторых – из-за плоскостопия. Ну, с плоскостопием-то всё понятно – любого человека придави такой внушительной головой, так и у него стопы выпрямятся. Только у Серёги это плоскостопие, кажется, во всём: в походке, в любом жесте и движении. А вот голова у него, напротив, совсем не плоскостопая – пятёрки так и сыплются в дневник. Однажды Серёга жалуется, что из-за этих плоских стоп его, наверное, даже в армию не возьмут. Ох, как здорово его потом можно было бы этим подразнить, если б он сам не страдал от такой перспективы. Так что смеяться тут над ним даже как-то и не в удовольствие.

Видимо, потому, что Серёга не только родительский, но и учительский любимчик, да и сама Надежда Максимовна – учительница в младших классах, самомнения в нём – хоть отбавляй.

Белобрысому Роману он приклеивает прозвище «Беляк»

с разными приложениями, так что Роман разом обретает множество оскорбительных дразнилок, связанных с грибами, зайцами, но что самое обидное и позорное – с белогвардейцами. На переменах Ромка-беляк гоняет неуклюжего, как медвежонок, Серёгу по классу и лупит учебником по чему попало, а чаще, конечно, по его большой изобретательной башке. А однажды, когда Огарыш уж как-то совсем неудачно, как из-под топора, подстригает Ромку, оставив криво подрубленную челку, Серёга дразнит его «Бобиком».

Этого Ромка уже не выносит и дома со слезами жалуется матери. Его слёзы видит и тётка

Валентина, жена дяди Тимофея, которая сидит за столом со стаканом густого чая с молоком.

– Ну, так и ты ответь ему как следует, – советует тётка, – он тебе: «Бобик», а ты ему:

«Большеголовый Сундук».

У Ромки от удивления, кажется, сохнут не только слёзы, но и жалостливые сопли. Удивлённо

смотрит на Валентину и Маруся. У Валентины, матери троих сыновей, жаловаться в семье не

позволяется: парни сами устанавливают свои контакты с миром и сверстниками. Хныкающим или

побитым ещё и дома добавляется – не жалуйся. Причём добавляет Валентина, а не Тимофей,

считающийся слишком мягким с детьми.

Совет её кажется злым и невозможным даже для обиженной души. Удивительно, что несмотря на постоянное высмеивание других и придумывание для них разных обидных прозвищ, сам Серёга обходится без прозвища. Обижать Серёгу не решается никто, видимо, чувствуя, что его обида будет неравноценной. Ведь, давая прозвище Серёге, просто невозможно обойти его большую голову. Нельзя же, обогнув главное, сделать акцент на чём-то второстепенном. Механизм делания прозвищ не таков. И потому Серёга остаётся просто Серёгой, что может считаться и именем, и прозвищем.

Конечно же, Роман и не думает воспользоваться злой подсказкой тётки, но на следующий день после первого же «Бобика» этот «Большеголовый Сундук» вылетает у него сам по себе. И Серёга замирает, как пронзённый. Он разоблачён! Губы его трясутся, большие глаза расширяются и стекают крупными слезами. Оказывается, о его недостатке знают! Он долго стоит потом у окна, растирая слезы и всхлипами глотая большие куски воздуха. Роман покаянно и с опасением ждёт каких-нибудь ещё боольших его гадостей, но на следующей перемене вдруг словно перемолотый

Серёга подходит к нему с пустым бледным лицом.

– Может быть, так-то не надо, а? – едва проговаривает он вновь запрыгавшими губами. – Это нечестно...

С этого-то момента и начинается их взаимопроникновенная дружба. Потом они уже вместе всюду.

Как-то летом они лежат, загорая на протоке, а рядом с ними оказываются городские мужчина и женщина. Для деревенских пацанов удивительна уже сама женщина в купальнике на песке: никто

из сельских тётенок до этого просто не додумывается. Но ещё больше странен мужчина, который

время от времени приносит в ладонях воду из протоки, смачивает спину женщины, а потом нежно

растирает. У пацанов, стыдливо наблюдающих за этим открытым нежным поведением взрослых,

41

аж мурашки по коже бегут.

– Чего это он, а? – с недоумением спрашивает Роман.

Это непонятно и Серёге, но он же умный и книжек больше прочитал. Серёга задумывается на

какое-то время и вдруг высказывает потрясающую догадку:

– А, так это же, наверное, он любит её!

И как только Серёга знает о таком?! Это неожиданное от-

крытие смущает обоих. Так вот, оказывается, что значит любить. Это, значит, быть таким, как этот городской мужчина.

Таковыми-то целомудренными впечатлениями и выстраивается потом их отношение к женщинам.

Общее детство, общие начальные впечатления, общие планы и взгляды со временем спаивают их, делая вроде как подотчётными друг другу. Так как же сейчас, с какими глазами рассказывать

Серёге о своих не очень-то хороших намерениях в городе? А как в разговоре с ним обойти тему его спившихся родителей? Конечно, сам факт их спивания

невероятен. Когда отец писал об этом в армию, то там эта новость казалась нелепостью. Нельзя

было до конца поверить в то, что так опускается Надежда Максимовна – учительница. В детстве

Роман даже побаивался её: всегда строгую, аккуратную, гладко причёсанную, внутренне

натянутую. Она всегда такой была. А вот дядю Володю-то, работавшего киномехаником, можно

было и раньше увидеть на улице с широко расставленными для устойчивости ногами, в обвисших

штанах-пузырях. Он мог и в кинобудке напиться, перепутав последовательность всех частей

фильма. Надежду Максимовну тогда просто жалели. Вместе они не появлялись нигде, и поэтому в

пару с трудом объединялись даже мысленно. Так и не восприняв реально это известие в армии,

Роман, увидев потом Надежду Максимовну в Пылёвке у магазина, застывает потрясённым. Она ли

это? Черты настоящей Надежды Максимовны кажутся какой-то тенью в этой едва знакомой

женщине – растрёпанной, опухшей, с синяком под глазом. Спотыкаясь, шатаясь из стороны в сторону, звеня пустыми бутылками в грязной, изодранной сумке, она подходит к крыльцу магазина.

И мир переверчивается с ног на голову. Мир, рвущийся в самом крепком месте, не может быть

логичным. И если бутылки собирает Надежда Максимовна, то и весь прочий мир тоже должен

пристроиться за ней с такими же грязными сумками. Можно ли было когда-нибудь раньше

представить её такой?! Оторопевший, Роман не решается даже поздороваться с матерью лучшего друга.

– А, Ромчик, – узнаёт его она, глядя незнакомыми, запавшими глазами. – Отслужил, значит. . А

чо же не заходишь? Сергей-то наш в музыкально-педагогическом училище учится. И женился уже.

Вот так вот. .

Особенно долго и шепеляво, показывая недостаток передних зубов, складывает она из

непослушных звуков это «музыкально-педагогическое».

Ох, Надежда Максимовна, Надежда Максимовна... Теперь её имя, произносимое когда-то с уважением, стало уже именем нарицательным. «Сшибаешь стопки, как Надежда Максимовна», – смеются теперь в Пылёвке над желающими выпить.

Потому-то Серёга и не показывается теперь дома, потому-то в последние полгода ему уже не до рассуждений о том, что творится в родном селе.

Как же теперь с ним об этом говорить? Как сочувствовать ему? Как не ранить уже самим этим сочувствием? Странно, что их, друзей, разводят по сторонам жизненные события, которые складываются независимо от них. Само собой, что когда-нибудь они встретятся, но совсем не понятно, как будут общаться.

Конечно же, главная жизнь Романа идёт не на курсах электромонтеров и не за промывкой уработанных электромоторов. Она начинается за проходной завода в кинотеатрах, в магазинах, на улице. А впрочем, идёт и параллельно учёбе, и параллельно моторам – всюду, где мелькают загоревшие за жаркое лето женские ноги, косо срезают сердце лукавые, яркие взгляды, подрагивают при ходьбе даже под заводской робой умо-

помрачительные женские округлости. В

каком гипнотическом плену и власти держат вчерашнего солдата эти удивительные существа!

Роман плывёт по миру с креном на один борт: все мужчины в нём – серые тени, женщины же

реальны, выпуклы, яркие. С мужской частью мира на заводе и вне его хватает и мимолётных, вроде

как производственных отношений, с женщинами хочется развивать личные и волнующие.

Роман бродит по улицам, видит девушек и женщин, просто захлёбываясь их красотой и

собственным вожделением. Этого женского и магнитного уж как-то через чур много. Казалось бы, с

точки зрения разумности, притягательного требуется ровно столько, сколько в силах способна

воспринять одна отдельная мужская особь, но на самом же деле женская магнитность спокойно,

как океан, существовала с каким-то убийственным превосходством над всякой мерой.

К женщине, более других привлекающих на улице, Роман словно приклеивается. Не попадая ей

на глаза и никак не обнаруживая себя, он долго следует за ней, незаметно наблюдая, едет рядом в

троллейбусе, заходит в магазин и с сожалением, так и не замеченный, отпускает её у дверей

какого-нибудь подъезда совсем в другом районе города.

Расстаётся с ней, как с каким-то

несостоявшимся жизненным вариантом, как с романом, проигранным в воображении. Несколько раз он всё-таки отваживается заговорить, но всякий раз контакт обрывается на первых фразах.

42

Думая о городе в Пылёвке, Роман, не считая себя дурнее других, даже не сомневался в своих

быстрых и лёгких победах, но город со всей его суетой, свободой и, как казалось раньше,

быстрыми сближениями, на деле-то оказывается не столь податлив. Стоит потянуться к какой-либо

женщине, излучающей головокружительную, почти материальную магнитность, как она

превращается в призрак: усмехается, отворачивается, уходит куда-то быстрыми шагами,

оказываясь уже чьей-то подругой, невестой, женой. Все, к кому он не подходит, уже вплавлены в

свои, особенно густые здесь сети человеческих отношений. Город, прямо-таки напряжённый

эротикой, похож на несмачиваемую плоскость, по которой Роман катается капелькой воды, никак с

этой плоскостью не соединяясь. Может быть, что-то в нём не так? Может быть, внешность его

виновата? Проходит почти целый месяц горячей, напряжённой жизни в городе, а он так и остаётся

в нём чужим, неопределёвшимся, не добившимся ничего. Ему кажется, что, отвергаемый женщинами, он отвергаем всем городом и всем миром. Куда ж пойти ещё с первой своей небольшой полочки, если не в ресторан «Коралл», находящийся под боком общежития? Правда из общаги сюда ходят не многие. Ресторан оккупирован местными хулиганистыми парнишками, которые, по слухам, могут начистить морду и просто так, ради разминки и спортивного интереса. Но хулиганов бояться – в ресторан не ходить. А где ж ещё знакомиться, если не здесь? Ресторан Роман видел до этого лишь в кино. Что ж, очень даже похоже. Вкусные запахи – пахнет, без всякого сомнения, жареной курицей. Только здесь она, наверное, дорогая. Ещё рано, и в зале полно свободных столиков. Лучше сесть подальше, с краю, как за последнюю парту в классе. Подходит официантка на шпильках, с сухими светлыми волосами. А приветливая-то какая, улыбается как! Но для знакомства она, понятно, не годится, потому что улыбается по работе. Куда бы спрятать свои руки с тёмными трещинками от солярки, которые не берёт никакое мыло? Начать же, пожалуй, можно с салата из помидорок с май-

онезом и портвейна. Заказ пустячный –

помидорки накрошить и три минуты много, а ждать приходится чуть не полчаса. Но это даже

хорошо – не есть же он сюда пришёл, спешить некуда. Тем более, что народ только-только

стекается. Но вот и салат, вот и портвейн в стеклянном графинчике с притёртой пробкой.

Попробуем маленько, рюмашечку одну.

И тут на стул перед ним опускается подошедший сзади миниатюрный, ловкий парнишка с

золотыми фиксатыми зубами. На вид ему где-то под тридцатник. Чёрная рубашка, на пальце –

синяя наколка кольца, каких у Моти-Моти целая коллекция. Что ж, один из штрихов его биографии

понятен, хотя совсем тёмного впечатления, как можно было ожидать, он не производит – есть в

нём что-то и весёленькое, розовое. Роман спокойно осматривает его, потом зал по сторонам.

Народу ещё немного. Музыканты с длинными космами, в заплатанных джинсах разматывают

провода гитар. Пожалуй, тут и к бабушке ходить не надо, чтобы понять – это и есть один из тех

хулиганистых завсегдатаев ресторана, которых боятся в общезжитии. Если он рыпнется, то

придётся незаметно его уложить – ну, мол, сам споткнулся и, видимо, при падении мордой стул

зацепил. Только вот из ресторана уходить не хочется. Хорошо тут, уютно и культурно как нигде.

Конечно же, самый лучший ход – это всегда ход вперёд. Не опуская графинчика после своей рюмочки, Роман молча наливает гостю вино в фужер для воды. Тот молча, оценивающе смотрит на

Романа. Очевидно, спокойное и конструктивное поведение новенького ему нравится. Подняв фужер, делает глоток и ставит на место.

– Костик, – протянув руку, представляется он.

– Роман.

– Я уж подумал, тут какая-то белая кость сидит. Ты же вон какой, беленький... Ну, так и что,

Ромашка, откуда тебя к нам занесло и какие у тебя проблемы?

– Занесло меня вот из этой общаги, – говорит Роман, указав вилкой за спину, а проблема у меня всего одна, зато громадная...

– Ну-ну, – с усмешкой поторапливает Костик, – не тяни kota за хвост.

– Уже месяц хочу познакомиться с какой-нибудь женщиной и не могу. Не умею.

У Костика от такого признания сам собой открывается блестящий золотом рот.

– Ну ты даё-ёшь! – восторженно произносит он. – А что? Ты мне даже нравишься... Хотя насчёт

баб ты, конечно, загнул. Чего же тут сложного?! Мне бы твою фактуру, так я и вовсе был бы секс-символом Читы и её окрестностей.

Роман лишь беспомощно пожимает плечами. Костик смотрит на эти широкие, но зажатые плечи, на опущенную голову, на руку, по локоть спрятанную под стол, и верит.

– Ладно, – загораясь, говорит он, – заказывай водки, и я проведу лекцию по ликвидации безграмотности.

И потом, воодушевленный неопытностью этого пионера, едва помакивая в рюмке верхнюю губу,

Костик рассказывает о женщинах, которые постепенно наполняют ресторан. Большинство из них

он знает, причём некоторых так близко, что ближе уже некуда. Делая свой обзор, он даже гордится

собой и членами родного коллектива, в который, получается, щедро вводит новичка.

43

– А вот та – как тебе, ничего? – спрашивает он. – Вон, за тем столиком, слева?

– Да ничего, вроде, – нерешительно пожав плечами, отвечает Роман.

– Как, хотел бы попробовать?

Роман ещё более смущённо жмёт плечами, что, впрочем, похоже и на согласие.

– Спробуй. Это жена моя... – говорит Костик, выдерживает паузу, наблюдая за изменяющимся лицом Романа, и добавляет: Бывшая.

Роман даже отстраняется назад, не зная, как на это реагировать. Костик, откинувшись на стуле, наслаждается произведённым эффектом.

– Да ты не бойся, – засмеявшись, продолжает он, – Надька уже года три как по рукам пошла, так что с ней всё запросто... Теперь ей можно только хороших мужиков пожелать.

– Нет, – говорит Роман, которому становится уже не по себе от простоты здешних нравов. – Я в таких делах лучше без рекомендаций.

– Ого-го! – восклицает Костя. – Ну, тогда я ваше балдею от тебя! Знакомиться не умеет, а в рекомендациях не нуждается.

Роман хочет плеснуть ему ещё водки, но Костик накрывает рюмку ладонью.

– Достаточно, – говорит он, – не в этом, как говорится, смысл жизни...

Услышав здесь такие слова, Роман загипнотизированно ставит графинчик и даже оглядывается

по сторонам, не веря, что это сказано именно Костиком. Из магнитофона льётся спокойная музыка, музыканты на очередном перекуре.

– Вон видишь, другие тут жрут, как свиньи, – поясняет

Костя. – Нажрутся, свалятся, где попало,
и будут дрыхнуть. И в этом, представь, всё их счастье. А
я сегодня буду, как белый человек,

балдеть с какой-нибудь бабой. Сечёшь?

– Вполне, – отвечает Роман, не совсем, правда, понимая,
по большому-то счёту, и такой смысл
жизни. – И что, это у тебя каждый день?

– Почти... В общем, всегда, когда хочу. Ох, сколько их у
меня уже было... Уж хоть по одной-то из
каждой национальности – это точно. Мы же интернацио-
налисты. И чтобы стать полноценным
гражданином, надо попробовать всех. Жаль, негритянок
у нас нет. А сегодня так и вообще глухо:

одни доморощенные русские. Кого и выбрать, не знаю...
Может, вон с той переспать? Новенькая...

За столиком, на который кивает Костик, сидит естествен-
ная блондинка с яркими глазами и с
высокой причёской, скрепленной заколкой в виде красно-
го пластмассового бантика. Она так статна
и красива, что по представлениям Романа недоступна аб-
солютно. Но это бы ещё ничего! Напротив
неё восседает мужик – настоящий шкаф, набыченно глядя
куда-то в зал. Кажется, Костик просто не
видит его. Сколько всё-таки правды во всех его открове-
ниях? А мужик-то, между прочим, в отличие
от самого Костика, тёмный, можно сказать, чёрно-корич-

невый. От таких вообще бы держаться
подальше.

– Но она же со своим, – нерешительно замечает Роман.

– Э-э, – усмехается Костик, – лёгкая задача всегда скучна.

В том-то и смак, что не одна. А

подумать, так чисто практически это и лучше. Будь она
одна, то выбирала бы сама, и уж мою-то

харю точно бы не заметила. Но тут ей выбирать не при-
дётся. Я свою стратегию построю просто.

Заметь, что ещё немного, и её комод будет в ауте. А я по-
могу. На его же деньги, конечно. Сам я

куплю лишь последнюю бутылку, с которой обычно едут
домой. Покажу ему эту бутылочку, и он сам

не захочет со мной расставаться. Вот я и помогу отвезти
его домой. Ей будет с ним тяжело, и

знаешь, как она будет благодарна мне за помощь... Другой
момент: в ресторане-то они, кажется,

бывают редко. Во всяком случае, здесь я их не видел. Дама
почти не выпивает, а сидит, озирается

– сегодня ей так хочется свободы от всей серятины. А до-
ма сложится такая пикантная ситуация:

вроде бы и сама в своей квартире, и муж рядом, только
надёжно спит, так что вроде бы и измены

никакой. А я, повторяю, не переоцениваю себя и знаю, что
в любой другой момент я для неё никто,

но тут-то я под рукой. И к тому же на всё готов и на всё

способен. После она, может быть, и пожалеет, да это уж после. Хотя чего жалеть... И сама пьяненькой была, вроде как в другом мире или во сне находилась... Да и не жалеют никогда о лишнем опыте: опыт лишь бояться обретать, а, обретя, никогда не жалеют.

Слушая Костика, Роман лишь почёсывает затылок от такой его дерзости, и своим удивлением ещё сильнее разжигает красноречие неожиданного наставника.

– Кстати, заметь, мой друг, – уже завершая свой краткий курс, говорит тот, – заметь, какая великая наука – психология. А у меня, между прочим, этой науки аж целых три университетских курса, да плюс другой, более суровый университет, где было время осмыслить и закрепить изученное. Вообще, усеки: для владеющего арифметикой человеческих отношений в сексе невозможного нет. Так что, рекомендую тебе неустанно повышать свой культурный уровень.

Роман сидит, озадаченный этим вполне мудрым наставлением, полученным под водочку и сигаретный дым. Ресторанный ВИА снова грохочет во все лопатки: «И зачем с тобою было нам знакомиться? Не забыть теперь вовек мне взгляда синего. Я всю ночь не сплю, а в окна мои

ломится ветер северный умеренный до сильного...». Засидевшиеся посетители выходят в центр для танцев.

44

– Ну, ладно, сам выбирай, кого тебе сегодня закадрить, – перекрывая шум, кричит Костя и прощально хлопает по плечу, – а я всё же рискну... Ух, как мне хочется взлохматить её причёску!

Как думаешь, выйдет?

– Сомневаюсь, честно говоря.

– Молодец, сомневаться надо. Сомнения – это критерий истины, – кричит Костя, уже отходя, но вдруг возвращается. – А спорим, что выйдет, – азартно предлагает он. – На пари-то мне будет ещё интересней!

Еле расслышав его, Роман неопределённо поднимает плечи.

– Ладно! – кричит Костя, пожав одну свою руку другой, – считай, заключили.

Выход в ресторан тоже оказывается пустым. Свободных женщин тут много, но, не зная на ком остановиться, Роман приглашает танцевать то одну, то другую, а завершается это тем, что все они оказываются «разобранными». Остаётся лишь одна, пожалуй, самая невзрачная. Роман набивается её проводить, а она вдруг с обидой брыкнув

плечом, заявляет, что, мол, одна сюда

пришла – одна и уйдёт. А вот куда и когда исчезает Костик, за этой суетой не понятно.

В общежитие Роман возвращается разбитым и подавленным. Со вздохом открывает дверь:

мозги пропитаны табачным дымом, виски ломит тяжёлым хмелем от сладкого красного вина. За

свою ненасытную озабоченность стыдно, за неудачу – обидно. И сама пустая комната (сосед по

комнате уехал на выходные к родителям) уже не пуста – она наполнена такими дразнящими

фантомами, что покоя в ней нет. И заснуть не выходит. А ведь кажется, в искусстве соблазнения

(после лекции Кости не считать это искусством уже нельзя) надо лишь не суетиться. Так что,

разберись-ка спокойно со своими амбициями. Пойми хотя бы то, что такое женщина, что такое

мужчина. Для того, чтобы не быть дураком, надо просто этим дураком не быть. А если и впрямь

почитать психологию в качестве факультативного дополнения к лекциям Костика? Правда, это

какой-то окольный путь: всё сразу и напрямик – куда лучше.

В ресторане Роман появляется лишь в середине недели. Костик, всё в той же чёрной рубашке, как в униформе обольстителя, поднимается навстречу из-

за столика.

– Ну, куда же ты, Ромчик, потерялся, – уже как другу говорит он с укоризненной улыбкой, – ведь у нас же пари.

– И ты хочешь сказать, что выиграл его?

Хохотнув, Костик вынимает из кармана рубашки алый пластмассовый бантик-заколку.

– Узнаёшь? Мне уже надоело носить это вещественное доказательство, но ты, как я понял,

упёртый и без этого вещдока не поверишь. У меня вообще слабость оставлять на память какие-

нибудь дешёвые сувенирчики, а то ведь всё имеет свойство стираться из нашей несовершенной

памяти. А этот фантик оказался особенным. Сейчас расскажу, ты просто умрёшь... Давай-ка, друг,

присаживайся ко мне. Как ты думаешь, кем оказался её кабан?

– Ну, откуда мне знать? – опускаясь на стул, удивляется Роман. – Милиционером что ли?

– Молодец! Движешься в правильном направлении, только очень низко, на карачках и по

подвалу. Дуй вверх, потому, что он шишка, да ещё какая! Не то прокурор, не то его заместитель.

Правда, уже бывший. Его как раз с должности турнули. Он так на всех своих разобиделся, что

пожелал без своих мусорских карифанов напиться в про-

стом «народном» ресторане. Вот и попал

сюда – в наши «Пыльные сети» – вместе с жёнущкой. Ох, как мне интересно было допаивать его

дома. Общаться с ним легко – специфика его работы мне знакома, хоть и с другой стороны

колючей проволоки. Подумать, так, может быть, он-то когда-то меня и посадил. А я теперь взял и

натянул его. Ну, не прямо, конечно, а косвенно. Сам-то он нафиг мне не нужен. И получил от этого

сказочное, двойное удовлетворение. Знаешь, я ведь не скотина и тоже иногда задумываюсь над

тем, как живу. И у меня, признаюсь, бывают горькие моменты, когда я говорю себе: «Ну и

ничтожество же ты, Коська! Сколько ты можешь предаваться этому разврату?» Даже бросить

иногда его хочется и влиться в ряды строителей коммунизма. Но вот только не в таких случаях!

Тут-то я просто Робин Гудом себя ощутил! Эх, заходили бы они, такие, сюда почаще и жён своих

приводили. Не всё же им натягивать нас. Надо и нам хоть иногда. Так что, это у меня не фантик, а

орден. Я могу его вот так даже на карман прицепить.

Роман некоторое время молчит, оценивая эту историю, которая наверняка не придумана.

– А я снова пролетел, – грустно признаётся он.

– Да наблюдал я тогда за тобой, – посмеивается Костя. –

Кто же так делает? Зачем ты их

перебирал? Они ведь не слепые, их это обижает. Здесь надо сразу, с самого начала выбирать одну

и не колебаться потом ни на грамм – всё внимание только ей, будто «на тебе сошёл клином

белый свет». И тогда уж она, подогретая алкоголем, не устоит.

А ведь это так банально, так банально. Даже и слышать об этом неловко.

– Обрати внимание вон на ту женщину, – советует Костя, ткнув большим пальцем руки себе за

спину. – По-моему, для тебя верный вариант.

Нет уж, по подсказке он не пойдёт. Он вообще будет сидеть сегодня и не дёргаться. Стоит

потерять один вечер, чтобы увидеть, как действуют другие мастера съёма. Это и самомнение

45

спасёт – не было ничего, потому что сам ничего не хотел.

Да – я такой, могу и так! Просто взять и не захотеть.

На другой день после работы Роман идёт в читальный зал областной библиотеки и погружается

в книги по психологии. На две следующие недели его жизнь сплавляется в симбиоз курсов

электромонтёра, почти что механической работы на заводе и жадного теоретического постижения

«науки страсти нежной». Впрочем, психология оказывается увлекательной и сама по себе, без всякой этой науки. Узнавать новое о человеке и, в первую очередь, о себе – что может быть увлекательней? Да ведь всё это не лишне и для жизни вообще. Костик, с его почти случайным советом, брошенным, по сути-то, лишь для того, чтобы покрасоваться собой, и предполагать не мог на какую благодатную почву упадут его слова. В общежитие по вечерам Роман возвращается теперь таким выжатым физически и перегруженным новым, что на женщин и смотреть не хочется. Как умиротворяет такое спокойное нежелание, позволяющее чувствовать себя даже чуть приподнятым над всей этой физиологической суетой. Как приятно лечь в свою холодную скрипучую постель, закрыть глаза и думать о чём угодно, только не о женщинах. Вот это свобода! Кровь, пульсирующая в голове, толчками наполняет усталые веки, так что закрытые глаза видят слабое мерцающее посвечивание. А ведь на самом-то деле круг интересных женщин не столь и велик. Со многими ли из них можно говорить о такой потрясающей вещи, как психология? Его новые знания представляются оружием, которое стыдно направлять против беззащитных. Женщины казались

ему высокими и недостижимыми только потому, что они – женщины. А ведь женщины – это просто один из человеческих полов. К ним надо лишь правильно, можно сказать, научно подходить...

Однако же, вот она, долгожданная удача! Ужиная в столовке с кафельным шахматным полом недалеко от общежития, Роман вдруг ловит на себе робкое подглядывание не очень

привлекательной, маленькой, чуть полноватой женщины. Наверное, ей лет двадцать пять. Она из разряда тех, кто обычно попадает меж глаз. Мужчины видят их редко. Но как глубоко и

взволнованно принимает она взгляд, посланный ей просто так, на всякий случай, как впитывает

его, словно на минуту потухнув, и как, снова засветившись, возвращает потом! Всё тут сразу

становится ясным до того, что можно уже ничего не бояться. Обыденно, почти не волнуясь, Роман

доклёвывает свою котлетку и со стаканом компота переживает за её голубой столик. Её зовут

Марина. Познакомившись, они идут в кино, а в сумерках оказываются в её квартире.

Осеннее утро, которым Роман возвращается от Марины, свежее, с расклеенными по тротуару

жёлтыми тополиными листьями. Прохожие – там да там, а редкие машины, с шелестом проносясь

по свободной улице, в одиночку замирают у светофоров. Сегодняшним утром Чита уже не видится чужой и неприступной. Собственно, неприступным город не был вообще. И ткань городской жизни на самом деле не так плотна, как виделось вначале. Просто не нужно лезть в её наиболее прочные узелки, стянутые вокруг самых красивых, привлекательных, удачливых. Начинай со слабых мест, с трещинок, где что-то рушится. И, кстати, ослабь напор. Женщина не может быть постоянно готовой к знакомству, а тем более – к близости. Это мужик готов всегда, а женская готовность имеет намного боольший люфт. Не добивайся женщин судорожно: пусть события развиваются словно сами по себе. И заруби на носу замечательное, фундаментальное поучение Кости: не убеждай женщину, а волнуй. Пример с Мариной именно это и доказал. Правда, специально он этого волнения не создавал. Вся его заслуга состояла лишь в том, что он оказался чем-то похож на её мужа, с которым Марина рассталась с месяц назад. Вместе они не прожили и двух лет.

– И почему же вы разбежались? – спросил её тогда Роман за домашним завтраком.

– В таких случаях говорят, что не сошлись характерами, – грустно пояснила она, – но мы-то,

если точнее сказать, не сошлись умами. Он ушёл, ничего не объясняя, чтобы не обидеть меня. Но я знаю причину: он считает меня неумной.

Тут оставалось лишь сочувственно покачать головой. Трудно сказать: умна она или нет.

Обыкновенна – это да.

Пожалуй, эта победа похожа на подачку – доблести в том, чтобы просто быть похожим на кого-то, никакой. Надо расти. Читать, думать и расти. Тем более что теперь этот город – свой.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Фантики

Купание в женщинах – вот главное теперь занятие Романа, легко «засветившее» все его

глобальные созидательные стремления. Первая, почти случайная любовная победа, будто во всю

ширь распахивает большие ворота города, войдя в которые он оказывается перед тысячами других

уже открытых дверей. Так, может быть, кстати, он вовсе не так и плох? Чем не хороша, например,

та же его блондинчатость, которой он обычно стесняется? Модная, короткая стрижка, сделанная в

центральной парикмахерской города, сто восемьдесят роста, уверенное поведение,

распряmlённая спина и слегка циничная, намеренно равнодушная маска на лице создают тот его

динамитный образ, который легко взрывает женские сердца. Очень скоро его первое смущение в городе и обидные неудачи кажутся нелепостью. Знакомства идут потоком, и он старается не пропустить ни одной возможности. Даже удивительно до чего же быстро всё меняется. Ещё этой весной, вернувшись из армии таким чистым и нравственным, он ужасался мысли о возможности женщин, кроме одной единственной, которую он должен был встретить. Теперь же с любознательным азартом ведёт всё возрастающий, так сказать, любовный счёт... Эх, наивность...

Как она сладка и приятна, но, наверное, никого и никогда не пожалел ещё о том, как легко, будто растаявшая карамелька стекает она потом с души. В этот головокружительный период Большого

Гона (Роман специально формулирует его так, как одну из частей личной, начинающейся

биографии) он похож на постоянно включенный локатор. Даже в автобусе он не становился к

женщинам спиной, чтобы не пропустить и проблеска перспективы. Он никогда не останавливается на

улице мужчин, чтобы узнать который час. Зачем? Об этом можно спросить женщину, притом ту,

которая посимпатичней. А вдруг её голос сообщит не

только время? Знакомится он и на улице, и на работе, и в читальном зале, куда всё так же заходит иногда, хотя в библиотеке девушки больше отвлекают. И это даже забавно – так что же для него главнее: наука обольщать, волей-неволей совершенствуемая и при отдельном, независимом изучении психологии, или само обольщение?

В середине осени, даже чуть «зажиревший» на успехах, он ещё более упрощает метод, дав в газету объявление: «одинокий молодой мужчина снимет комнату или квартиру». Получив с десятков конвертов, он убеждается, что не ошибся: почти в каждом отклик одинокой женщины. Квартиры трёх женщин – однокомнатные, и выходит, что жилище предлагается в комплекте с хозяйками.

Хитрое объявление дарит сразу целый пучок удачных, гладких знакомств, наслаивающихся, как сладкие слои торта «Наполеон» (стоит задуматься: почему слоёный торт называется именем великого завоевателя). Однако наслаивание даётся непросто: в душу не вмещается по две или по три женщины одновременно. Находясь рядом с одной, с огорчением замечаешь погасание другой.

И потому-то настоящего чувства (потребность в котором всё-таки остаётся) нет ни с одной. Благо, что всё это хоть как-то компенсируется ощущением неко-

его мужского веса – приятно осознавать себя центром жизни одновременно нескольких женщин. Конечно, для этого необходимо умение легко переключаться с одной на другую, не путая их имён, привычек, собственных уже рассказанных историй и всего прочего. Особого комфорта в душе от этого наложения, конечно, нет, хотя, казалось бы, что плохого в том, что он значим сразу не для одной? Это же здоорово, что он создаёт вокруг себя сразу несколько эмоциональных кругов!

А в общем-то, с точки зрения самокритичного взгляда, в чём доблесть его довольно лёгких побед? Мужиков, во-первых, и по статистике меньше, чем женщин, во-вторых, мужики, к тому же, делят женщин с алкоголем. Так что, редкая женщина на сто процентов обеспечена необходимым количеством мужского. И он этим пользуется.

Золотая мысль Костика о том, что женщину следует прежде всего волновать, обогащается таким её зрелым и утонченным развитием, что волновать её не следует прямо и намеренно. К магниту всё притягивается само. Вот и стань таким, чтобы женщины липли к тебе без всяких твоих усилий. Кстати, если для привлечения женщины тебе нужно стать магнитом, то для удержания её

надо быть магнитной горой. Лишь настоящий, самодостаточный мужчина имеет женщин как нечто само собой разумеющееся. Если же, судорожно добиваясь женщин, ты бегаешь за ними, как щенок, то ты щенок и есть. Впервые задумавшись об этой «магнитности», Роман ревизионно вытряхивает для критического обозрения мешок своего интеллекта и кисло обнаруживает, что весь его потенциал – это анекдоты, байки о службе, нелепые мечты по преобразованию Пылёвки, познания об электромоторах (детально: о статорах, роторах, коллекторах...) и, пожалуй, всё.

Совсем немного, и уж, конечно, совсем не то. А ведь женщин-то магнитит иное: понимание искусства, литературы, начитанность, в крайнем случае. Да понятно, конечно, что всё это лишь для формы, для протокола знакомства. Женщина и сама физиологически нуждается в мужчине, ничуть не страдая от ига его похотливых притязаний, как наивно думалось ещё совсем недавно. Более того, она и сама находится в плену той же плотской жадности и ненасытности. И понятие «целомудренность», казалось бы, защищающее её, придумано не ей. Этот колпак накинута на женщину мужчиной для осаживания ей естественного напора. Так что за стенами почти всякой

женской крепости у соблазнителя всегда таится союзник и в какой-то степени предатель женщины

– это её собственное желание. И потому искусство оболыщания, в сущности-то, элементарно:

всякий раз, имея дело с какой угодно женщиной, знай, что она, конечно же, не против того, чтобы

быть с мужчиной вообще и, возможно, с тобой в частности. Только вот эта тяга приглушена

культурными и прочими запретами. Ну, так разузнай её запреты. Обычно они увязаны красивыми

бантиками. Прикинь, за какой кончик бантика удобней дёрнуть, чтобы распустить. Главная

слабость всех её запретов в неосмысленности своих запретов. Соблазняя женщину, сделай малое:

замедлись в точке, где она уже сама чувствует, куда ты клонишь, заставь ждать, и скоро нетерпеливый

предатель на её крепостной стене махнёт тебе белым флажком. Самые же мощные и оттого

наиболее хрупкие запоры, напротив, лучше всего сбиваются прямо и открыто – ломовым,

кувалдным приёмом.

47

– Ох, ох, какая вы принципиальная, – говорит Роман девушке, которая сходу попытается его

отшить. – Да только что толку от ваших принципов, если все они шиты гнилыми нитками.

– Ну, уж не вам об этом судить! – пренебрежительно отвечает она, кажется, угадывая, *кто* к ней пытается подкатить.

– Это легко доказывается. Я могу развратить вас за считанные минуты... Причём самым примитивным способом.

– Ну! – почти взбешенно восклицает она. – Развратите! Может быть, прямо здесь, на улице?

Она уже понимает, что перед ней один из циников, которых она ненавидит больше всего на свете и, даже рада случаю дать ему хороший отпор – пусть знает, какой бывает настоящая девушка!

– Что ж, – спокойно соглашается Роман, – можно и здесь... Только, может быть, присядем куда-нибудь. Ну, хотя бы на эту скамеечку.

Она, словно споткнувшись, с опаской смотрит на речную скамейку и вдруг, принимая его

условия, садится, туго стиснув колени. Роман опускается на безопасном для девушки расстоянии,

тщательно вымеренном ещё при общении с Пугливой Птицей, и молча рассматривает её

симпатичное личико. Признаться, он и сам не представляет ещё, как будет выполнять своё

обещание. Ну, да всё определится по ходу. А пока – та же самая пауза. Паузы в этом деле вообще

полезны – они всегда ведут в нужном направлении.

– Ну, что же вы? – нервно напоминает она. – Ваше время идёт. . Вы уже потеряли целую минуту или две...

– О, да вам и самой уже не терпится... – усмехнувшись, говорит Роман. – Не беспокойтесь, я уже развращаю вас...

– Что?! – испуганно восклицает она и замирает, прислушиваясь к себе, чтобы проверить, не происходит ли в ней и впрямь чего-то неконтролируемого. Так и слышится, как боязливо, с визгом кричит она внутри себя: «Ой, мамочки-и-и!» Роман смеётся.

– Да успокойтесь вы. Я, конечно, порядочный злодей, но чтобы так сразу... Давайте дискутировать. Для начала назовите какое-нибудь своё моральное правило.

Она теряется, не находя, что сказать.

– Ну, вот видите, – всё так же спокойно и насмешливо замечает Роман, – вы так любите свои моральные правила, что даже не можете сразу вспомнить ни одного из них.

– Причем здесь любите... – обиженно говорит она. – Ну хорошо, вот вам такое правило: человек должен быть правдив.

– О-о! Да вы серьёзный противник! Что ж, тут я сразу про-

играл. Один-ноль в вашу пользу. Вы

правы – человек должен быть правдив. И, проиграв, хочу попросить вас только об одном:

пожалуйста, будьте правдивы во всём нашем дальнейшем диспуте... То же самое обещаю и я.

Никаких фокусов и обмана. Давайте дальше. Ну, вот если взять такое представление (можно

теперь я предложу?): считаете ли вы, что девушка до замужества не должна иметь мужчины?

– Разумеется. Именно так я и считаю, – твёрдо отвечает она.

– О, как много я уже знаю о вас! Вы меня этим мнением, а так же фактом, даже интригуете

слегка. Что ж, и тут я почти согласен с вами. Но только ответьте, пожалуйста, чётко и ясно –

почему именно нельзя? Вы отвечайте, а я буду перебивать вас только двумя вопросами (я ведь

обещал простоту способа): зачем? и почему?

Девушка сбивчиво объясняет, но после нескольких «зачем?» и «почему?» оказывается в тупике.

Её принцип – упругий, ещё скрипящий новизной, но никогда до этого не попадавший в такой излом

– уже в трещинах, как старая штукатурка, скрывающая дранку истинной основы. А белокурый

злодей, сидящий на расстоянии вытянутой руки, задумчив, спокоен и, кажется, не только не

радуется своей победе, а больше грустит о ней, медленно произнося слова завораживающим мягким басом.

– А вот стыд, стыдливость, – продолжает он, даже и глядя-то куда-то в сторону, чтобы быть непричастным к этому почти что саморазрушению, – это всегда хорошо?

– Ну, а как же без стыда?! – снова с какой-то надеждой скидывается девушка.

– Он нужен всегда?

– Ну, а как же? – уже не с той убеждённостью произносит она.

– Конечно, стыд необходим, – как с чем-то, к сожалению, неизбежным, соглашается Роман. – Но

даже и эта истина не абсолютна. Одна моя дальняя родственница умерла от стыда...

– Вы обманываете! Как это можно?! – испуганно удивляется девушка, глядя широко открытыми глазами. От её недавней воинственности нет и следа.

– Давно это было. Тогда от села до села ещё на телегах ездили. Моя родственница (ей было

около двадцати лет) шла со станции, а это было, поверишь ли, около ста километров. Её догнал на

телеге один мужик, односельчанин и, конечно, посадил. Хороший, в общем-то, умный мужик. А

вся дорога – сплошная степь. Ну, и что, дело житейское,

захотелось ей по-маленькому... А стыдно.

Ехала она и всё терпела, не знала, как сказать, и дотерпела, в конце концов, до того, что у неё

48

лопнул мочевой пузырь. Ты только представь! Кругом степь на сотни километров, куда ни глянь, а

они в одной этой точке, на телеге. Рядом с ней мужик, который в жизни уже всё видел-перевидел. У

него и собственные взрослые дочери были. Да он бы даже не оглянулся, если бы она спрыгнула с

телеги да присела пописать. А ей стыдно! И она от этого умерла! Вот тебе и стыд! Вобьют в голову

молодым дуручкам какие-то принципы, а они потом даже не догадываются хотя бы просто

задуматься о них!

Прервавшись, Роман тяжело вздыхает. Уже не раз рассказывает он эту, слышанную от матери

историю, которая давным-давно произошла с одной из девушек по материнной родове, и всякий

раз, рассказывая, всерьёз расстраивается от глупости той молодой родственницы.

– Сейчас-то, конечно, ни одна бы двадцатилетняя от такого не умерла, – продолжает он. –

Однако всякой нелепости у нас в головах и сейчас не меньше. Вот хочешь услышать моё

откровенное признание, как мужчины?

Она слушает его, почти испуганная таким неожиданным и для самого Романа напором, и лишь согласно кивает головой.

– Всякий раз, видя обнажённую женщину, уже после близости с ней, я чувствую себя чуть-чуть

одураченным. Да-да, именно так. Почему? Да потому что не ощущаю уже к ней прежней сильной

тяги, «дури», как говорит мой деревенский отец. И тогда я думаю: «Ну, стоило ли мне убивать на

это, так сказать, достижение столько сил?» Думаю так, а сам уже в этот момент знаю, что пройдёт

немного времени и любая женская коленка снова затуманит мне мозги той же «дурью», и я, забыв

про всё на свете, снова ломанусь в том же направлении. А всё почему? Да потому что я вырос в

такой закрытой, такой девственной среде, что теперь меня шокирует всякая эротическая деталь.

Но если бы я жил в более откровенном мире, если бы женского и обнажённого я видел больше, то,

наверное, этой «дури», этой напряжённости было бы во мне поменьше. И тогда я свою энергию

тратил бы на какие-то благие дела и достижения, а не на убаживание своего физиологического

демона. Так почему же, спрашивается, мы живём по этому запретительному ханжескому правилу?

Ведь преодоление возможно не только через запрет че-

го-либо, но и через насыщение им. Вот,

кстати, одна из причин того, что ханжеские общества развитыми не бывают.

Пожалуй, в этот раз он увлекается слишком. Отпущенное ему время уже давно закончилось.

Однако девушке это уже всё равно. Она сидит грустная, задумчивая, почему-то почти несчастная.

Пора с ней прощаться. Первая встреча важна не продолжительностью, а яркостью. Затянутое

свидание утомляет, а краткое, но яркое заставляет думать, размышлять и помнить.

Некоторое время побыв с девушкой на «ты», Роман снова возвращается к «вы», словно на тот

же берег отчуждённости, с которого началось их общение.

– А давайте увидимся завтра на этом же месте, чтобы, собравшись с мыслями, вы дали мне

решительный отпор, – предлагает он.

– Хорошо, – отвечает девушка, но уже сейчас настолько нерешительно, что не понятно, придёт ли она вообще.

Приходит. Более того, с робостью, но уже многое понимая наперёд, соглашается погостить в

общежитии. Если бы все её принципы были вроде глиняных горшков и находились в каком-нибудь

мешке, то сегодня она могла бы вытряхнуть из этого мешка лишь обломки и черепки. За двадцать

четыре часа примитивные, но ядовитые вопросы «зачем?» и «почему?» завершили свою разрушительную работу.

Свою очередную победу Роман принимает равнодушно, несмотря на то, что у девушки он

первый мужчина. Ему даже хочется, чтобы, очнувшись, новая женщина возненавидела его за

кавардак, устроенный в её личности. Но этого нет. Есть лишь благодарность, от которой хочется

отвернуться. А её заявление об открывшейся широте взглядов ввергает в тоску. Закинув руки за

голову, Роман лежит, глядя в закопчённый, давно не белёный общежитский потолок. Ну, кто вот он

сейчас? Дьявол что ли? Может быть, объяснить ей теперь, что его вчерашние вопросы были

однобоки, с намеренным игнорированием духовного. Он это духовное просто взял и обогнул. Да,

конечно, какая-то прибавка свободы в её взглядах есть. Но это нечто вроде «нижней» свободы. А

если бы она поднялась к любви, испытав эту близость на духовной высоте, то обнаружила бы иную

свободу, не сравнимую ни по величине, ни по «качеству» с полученной. Однако, если она сейчас не

видит никакой разницы, то нужен ли ей этот «верх»? У кого в её возрасте есть верхняя, духовная

сфера? Что поделывать, если жизнь так скудно и не сразу

подпитывает нас духовным? Оно, это

духовное, слишком массивно, чтобы молоденькие девчонки успевали его осваивать. «О Господи, –

грустно думает Роман, – найдётся ли среди них хоть одна, у которой бы её нравственным

принципы были не штампованными, а осмысленными?»

Мир от недостатка истинного в нём видится не слишком прочным. Нехорошо, конечно,

разрушать его ещё больше. Однако в этом умножении греховности мира есть тонкое, тёмное, но

приятное наслаждение, такое же, как при вытаптывании ровного снежного наста в огороде. Только

детское удовольствие от разрушения было не прочувствованным, не прояснённым, а теперь оно

вполне очевидно. Этот уже отлаженный, отрепетированный поток женщин не оставишь просто так.

Белый снег валиют и валиют – женщинам не видно конца. А значит, надо вытаптывать и

49

вытаптывать... Ещё возвращаясь из армии, Роман думал, что женщина, недоступная, как ей и

полагается по природе, может до мужчины лишь царственно снисходить. Но как быть, если они

постоянно «снисходят» и «снисходят»? В воле женщины – воля природы. Игнорировать её

снисхождение противоестественно. Потому-то ты, муж-

чина, и владеешь женщинами. Хотя

владеешь ли? Не та ли природа владеет и тобой, подстёгивая тебя всякий раз, когда ты, раздувая

ноздри как лось, ломишься через кусты и преграды то к одной, то к другой, как бы победе. Можно

ли этот чёртов Большой Гон хотя бы как-то утишить? Чем разбавить горячую,

легковоспламеняющуюся кровь? Только бы лучше не водкой, старостью и болезнями, а рассудком.

Но что значит сейчас этот робкий рассудок? Да ничего: «суха теория, мой друг, а древо жизни

зеленеет». Ох, и зеленеет же оно, это древо! Так кучеряво зеленеет, что уже и не до обуздывающих

теорий. Хорошо бы вообще ненавидеть этих порабощающих женщин, да не выходит. Выходит

разве что иногда немного издеваться над ними. Купить с полочки килограмм дорогих шоколадных

конфет (чаще всего «Весну» или «Буревестник») и поштучке раздавать знакомым и незнакомым

женщинам, внутренне насмехаясь над их светящимися улыбками, над их падкостью на словечки и

подарочки. Но, по сути-то, это вода всё на ту же мельницу. Женщин от такой насмешки над ними

лишь прибывает.

Этому помогает и ещё одно соблазняющее умение, открытое в себе Романом и

сногшибательно действующее в ресторане. Это открытие – танцы. Всё начинается однажды с лезгинки, заказанной компанией шумных горячих кавказцев. Музыка такая, что заставляет непроизвольно подёргиваться руки и ноги. Роман сидит, наблюдая за движениями танцующих и вдруг находит, что ничего сложного в этом танце нет, чувствует, что он может даже и лучше. И уже не может утерпеть. Выходит чуть подвыпивший, разгорячённый, оказавшись, блондинчатый и голубоглазый, на голову выше своих лихих черноглазых соперников, и показывает «как надо», не уступая, а даже значительно опережая их в скорости и чёткости. В одном же месте делает и вовсе невероятное – сдваивает ритм так, что за один такт успевае сделать два одинаковых движения. И это сходу, с первого раза. Уж если что есть, так того не отнимешь. Танцуя, он вроде бы ничего и не придумывает. Напротив, перестаёт думать и полностью отпускает, отдаёт себя музыке. Примерно так же поступал он в спарринге при рукопашной схватке, отдавая себя своему внутреннему зверю, как называл этот внутренний выплеск прапорщик Махонин. Не зря же и теперь, выходя в круг, Роман старается найти самого быстрого, самого умелого танцора и «сделать» его. И его «Тающий

Кот» всегда выходит победителем.

После первой же лезгинки Романа восторженные кавказцы в качестве подарка посылают на его

столик бутылку водки. А потом, в каждый очередной его визит в «Пыльные сети», все завсегдатаи с

первыми же звуками любой быстрой мелодии начинают выжидательно поглядывать в его сторону.

Но ему-то интересны, конечно, не завсегдатаи. Даже самая красивая из женщин после его

быстрого танца уже не может отказать и в медленном...

Лёжа как-то на койке в общежитии и читая книгу модного писателя-деревенщика, который не

рассуждает даже, а художественно ноет о разлагающихся нравственных нормах, Роман вдруг

спохватывается про себя: а где же он-то свои нормы оставил? Он что, уже не деревенский? Ведь,

судя по рассуждениям этого писателя, он просто деградирует, потому что не вправе хотеть женщин

в такой степени, в какой он всё-таки почему-то хочет их. Но как можно не желать женщин, если они

есть? Причём как раз для того, чтобы их желали. Вот ведь в чём заковыка-то! А что же, сам-то этот

писатель никогда никого не хотел? Он что же, ненормальный какой? Больной, что ли? Или у него от

природы заужены эти физиологические потребности? Ну, тогда ему, конечно, легко учить и

монашеские проповеди петь. А при чём тут его кивки на народную нравственность? Народ всегда был максимально раскован в тех общественных, политических и прочих рамках, которые имел. И всегда станет ещё раскованней, если рамки будут шире. Народ, как умная вода, всегда займёт все возможные границы того нравственного сосуда, в который он влит.

Ущербность своего образа жизни Роман хорошо осознаёт и без каких-либо кивков на высокую нравственность народа, и без всякого писательского нравоучительства. Ведь, в сущности-то, увлечение женщинами – это самый простой способ обрабатывать свою жизнь в забвение, сливать её в песок. Жизнь вообще обладает какой-то феерическо-развлекательной агрессией. Отдайся весь без остатка ярким впечатлениям и наслаждениям, и от твоей личной жизни не останется ничего. Она вся растворится в этом сладком сиропе. Очевидно же, что настоящее удовольствие и удовлетворение жизнью состоит не в развлечениях, не в лёгких поверхностных приключениях, а в духовной наполненности души.

В воскресенье не надо тащиться на работу. Можно поспать чуть подольше, а потом сходить в магазин за продуктами. У прилавка небольшая очередь,

позволяющая неспешно ворочать

мыслями. Состояние всё ещё какое-то полусонное: «поднять подняли, а разбудить не разбудили».

«А, кстати, с кем я сегодня ночевал? Ведь я же сегодня с кем-то спал... Но с кем?!» В

растерянности Роман даже прикрывает ладонью открывшийся рот. Вчерашняя или уже

сегодняшняя женщина ушла рано утром, но он не помнит ни лица её, ни фигуры, ни имени. Была

просто «какая-то женщина», и всё. Женщина вообще, в принципе. Тут впору протрясти головой,

50

окончательно проснуться и задуматься на один порядок сильнее. Пора либо бросать весь этот

разврат, либо научиться как-то оставлять его в памяти, потому что, как бы там ни было, но это тоже жизнь.

У женщин, как и у снов, общее свойство легко забываться. Костик запоминает их с помощью

фантиков. Делая попытку хоть как-то самосохраниться, Роман вспоминает и записывает в книжку

имена женщин, а если имена сдваиваются или страиваются, подписывает характеристики: какие-то

особенности вроде цвета волос или глаз. А ещё для описания сути женщин находятся различные

цветовые определения, которые кажутся наиболее памят-

ными. С самого детства, с момента, как

он попал в райцентре под автобус, этот «спектральный анализ» срабатывает сам собой. Поэтому в

его книжке появляются характеристики: «золотистая», «бледно-розовая», «с синевой»,

«малиновая»... Интимные детали фигур он не трогает, опасаясь возможной потери книжки.

Конечно, нашедший его досье, никогда не узнает автора, однако, как думает Роман, такое подлое

явление, каким является он, не вправе открываться миру даже анонимно. Впрочем, для

достоверности памяти таких заметок всё равно не хватает, а перенимать опыт Костика с его

фантиками, по выражению же Костика, запахло. Пусть я почти такой же, как он, а всё равно в чём-

то лучше. Но – стоп, стоп, стоп! Да ведь тут-то его дырявой памяти поможет тот же дорогой,

бережно хранимый фотоаппарат «Смена-6», когда-то подаренный отцом!

Женщины и девушки фотографироваться любят больше, чем мужчины. Ну, так они и в зеркало

смотрятся чаще. Можно сделать просто портретный снимок. А можно и не портретный. Когда есть

отношения – женщинам и самим интересно сняться откровенней. А это уже коллекция. Коллекция

фотографий, но выходит, что и коллекция женщин. Она

хранится отдельно в чёрном пакете, вместе с пачками неиспользованной фотобумаги, который обычно боятся открывать. Теперь победы обретают дополнительный смысл – уже само увеличение коллекции кажется не меньшей ценностью, чем сама победа. Победы, полученные в результате возрастающего искусства соблазнителя, вроде как дешевеют, а коллекция дорожает. Однако, как ни уговаривай себя, как ни переводи этот пустой образ жизни в какие-то другие формы, например, в форму того же коллекционирования, общее разочарование остаётся.

Любопытного в женщине обнаруживается куда меньше, чем ещё совсем недавно грезилось из юношеского целомудрия. Теперь-то уж понятно, например, что женщина не может быть красивой единственно от того, что она обнажена. Оказывается, красота – это не когда что-то обнажено, а когда обнажено именно красивое. Но почему как раз именно сильно развитые женские формы и отталкивают. Почему именно это впечатление кажется особенно грубым? Хотя, как это отталкивают? *Уже* отталкивают? Опа-па! Так ведь это похоже на отрыжку! На пресыщение!

Приехали, дорогой! А что ж так быстро? Может быть, потому что женщин было уже слишком много

для тебя? Конечно, никакое это не пресыщение, но, кажется, Женщина, как одна из категорий жизни, постигнута. Если только это заявление не слишком безответственно... Полностью постичь такое явление, как «женщина», в двадцать лет?! А дальше, простите, что делать? Чем в этой длинной жизни заниматься ещё? Уже не жить? Уже хватит? А может быть, это разочарование не от пресыщения, а от опытности? От всё большей изощёренности вкуса? От понимания, что сильно развитые женские формы не гарантируют страстность? Ведь тут, более того, наблюдается даже нечто обратное – чем более женщина сексуальна внешне, тем меньше в ней страсти и огня. Как будто её страсть растрачивается через саму внешнюю сексуальность. И напротив, внешне неприметная женщина (серенькая мышка) может оказаться настоящей бомбой. Ну как тут не сделать вывод, что крутые женские формы – это чаще всего обманка, излишность?

Так это или не так, но дух любовных приключений становится дряблым и вроде как необязательным. Куда спокойней видется с несколькими, особенно сильно привязавшимися женщинами, установив некий распорядок встреч. Плотское удовлетворение есть, и ладно. Понятно,

что всё это неправильно. Понятно, что надо спасаться. И способ известен. Спасение твоё в такой

женщине, как Люба. Или ей ещё не время? Хотя почему не время? Да потому, что хоть душевной

грязи в установившейся жизни больше, чем надо («хорошо, что я вижу это сам»), из неё всё же не

хочется вылезать. Затянуло. Кажется, до нового витка духовного, до потребности любви нужно

снова дозреть. Только как дозреть на такой почве?

– А зачем вы хотите со мной познакомиться? – спрашивает его одна из очередных женщин,

мимо которой он просто не может пройти. – Для коллекции?

– Ну зачем же? – сбившись от такого точного, но банального попадания бормочет Роман. – Не

для коллекции, а для общения. Может быть, мы с вами подружимся. И вообще... Дайте вашу сумку, я помогу.

Женщина удивлённо вскидывает брови и разжимает руку, отпуская сумку.

– Если вы не ищете лёгкого знакомства, – наставительно произносит она, – то надо быть очень

наивным, надеясь вот так на улице, в толпе, встретить единственного человека. Единственные не

находятся так просто. Это слишком несопоставимо: единственный и случайный...

Пожалуй, в её рассуждениях что-то есть. Но сейчас важнее другое. Они ведь наверняка идут к её дому и где-то обязательно остановятся: за квартал от дома, у подъезда или у дверей квартиры.

51

Этот момент нельзя проиграть. Окидывая женщину взглядом, Роман невольно пытается представить эту, пока ещё незнакомку, без одежды, без этой красиво вязаной, наверное, собственными руками, шапочки. Всё-таки как мило, когда у женщины есть вещи, сделанные её руками. Это придаёт им особое обаяние.

Незнакомка продолжает воспитывать, он во всём соглашается с ней, словно не слыша наставлений. Пройдя по улице Ленина, они сворачивают под арку во двор, потом так же резко под очередным прямым углом в подъезд и поднимаются по лестнице. У дверей останавливаются, но лишь для того, чтобы она, продолжая рассуждать, отыскала в сумочке ключ. То ли она не замечает спутника, то ли не помнит, что идёт с чужим, пока что без имени, человеком. Кажется, ей и самой удивительно всё, что происходит вопреки её установкам, правильным речам и чёткой логике.

В квартире женщина, скинув пальто, оказывается в дорогом светлом платье. Прихожая отделана

под раскалённую красную кожу – всюду приметы полноценного семейного гнезда. Замужних женщин Роман избегает принципиально, но не из-за каких-то страхов, а из-за сочувствия к собратьям (не надо во всём уподобляться Костику). И потом: глупо лезь к занятым, когда полно свободных. Замужние обычно выделяются на улице озабоченностью, внутренним сосредоточием, спокойным, даже равнодушным отношением к посторонним мужчинам. А тут осечка – печать замужества на этой женщине бледноватая, словно с выветрившимися чернилами, и даже хозяйственная лёгкая сумка не выдала её на улице. Но что уж теперь... Назад не раззнакомишься...

Раздеться она не предлагает, словно он замечен ей лишь для наставлений. Сняв и повесив куртку поверх чужого мужского пальто, Роман проходит за ней в комнату. Продолжая слушать и поддакивать, он медленно приближается к ней, обнимает за талию и словно обжигается плотью.

Ошеломление от её тела многократно превосходит ожидание. Женщина мягка и податлива. Всё, что она делает теперь, – это лишь замолкает. Но её молчание после длинных речей кажется возбуждающим само по себе. С минуту, затаённо обвык-

нув в тесных объятиях незнакомца и

словно напивавшись его желанием, она легонько, необидно отталкивает в грудь. Потом, отступив

на два шага, медленно наклоняется, берётся за подол платья и скрещенными руками поднимает

его над головой, вспыхнув тугими ногами в розовых колготках. Роман не может сдержаться, чтобы

не потянуться, позволяя истоме свободней разлиться по всему телу.

Потом, отдыхая под смятой простыней, вяло натянутой как попало, он думает, что, в общем-то,

как бы пошловато всё это ни выглядело, но и связи без всяких чувств – это одна из самых ярких

красок жизни. Конечно, не всегда у него выходит это так ошеломительно и быстро, как сейчас, но

эту розовую вспышку колготок он не забудет, даже имея когда-нибудь самую прекрасную, самую

любимую жену. И сможет ли он потом быть верным, зная о возможности таких внезапных,

случайных радостей?

С этой женщиной, которую зовут Марина (кажется, Марина четвёртая – надо уточнить по

записям) он встречается потом с неделю, до возвращения её мужа с курорта.

Окончательно прощаясь после пятой встречи, они стоят в красной, так и не потерявшей

раскалённости, прихожей.

– В первый раз ты так много тараторила, – с улыбкой вспоминает Роман, – я никак не мог дождаться окончания лекции.

– Это от растерянности, – признаётся она. – Я на самом-то деле вроде бы и не хотела ничего, да слишком уж долго отсутствовал Коля.

– Ты часто изменяешь ему?

– Не часто, но бывает, – потупившись, сознаётся она и в этом. – Конечно, дело тут не только в разлуках. Любовь, какая бы она ни была, всё равно слабит и проходит. Проходит. . И ничего тут не попишешь. А без живого в душе нельзя. Только увлечения и спасают. .

– Скажи мне, – просит он Марину, – каким ты видишь меня как женщина?

– В тебе притягательно нечто противоречивое, – подумав, отвечает она, – ты мужественный, но очень тонкий и нежный. Ох, наверное, многим ещё бабам испортишь ты жизнь...

Спасибо ей за искренность. Можно ли считать её развратной, если, по её словам, не надёжны

сами чувства, которые нам даны? Когда чувства теряют силу, они идут на костылях принципов.

Только кто-то мирится с этими костылями, а кто-то – нет. Неужели ж и природа самой любви

такова, что срок её означен? Выходит, чувство Любы и Витьки тоже обречено? Книги по психологии и газетные статьи ничего не проясняют на этот счёт. Возможна ли любовь неисчезающая? Как сберечь чувство, если оно возникнет? Не хочется обрести новое разочарование – разочарование в вечности любви. Если нет таковой, то к чему тогда всё? Хрупки, оказывается, не только представления других – не более прочны и свои собственные.

* * *

Факт, что Серёга живёт буквально в соседнем от общежития квартале, делает, наконец, вину за затянувшийся визит совершенно непростительным. «Всё – сегодня после работы и пойду».

52

Найти его оказывается проще простого: вот он дом, вот подъезд. Серёга живёт на пятом этаже.

Странно, что дверь с привинченной серебристой табличкой «12» обита мягким, пухлым дерматином, а ручка на ней красивая, бронзовая, в виде львиной головы. И это дверь друга детства? Как-то не вяжется она с ним. Соседняя – простая деревянная дверь – подошла бы больше. Только, может быть, и Серёга уже не тот? Что ж, пора сверить их взгляды на жизнь. Хотя

свои-то лучше бы и вовсе никак не выдавать. Надо звонить, а Роман не решается. Стоя перед чистенькой квартирой Серёги, он чувствует себя монстром, вылезшим из болота, с которого на площадку натекает лужа грязи.

Нет, поистине в жизни всё рядом. Оказывается, для того, чтобы встретить лучшего и единственного друга, надо было лишь пересечь небольшой квартал, по сути, один двор с детской песочницей, подняться по лестнице и, немного помявшись, нажать кнопку звонка.

– И куда же ты, к чёрту, запропастился?! – совершенно нормально приветствует Серёга самым лучшим для этого случая приветствием. – Проходи давай! Я слышал, что из Пылёвки-то ты уехал ещё летом.

– Да некогда всё было, – виновато бормочет Роман, – пока осваивался: то да сё...

Принимая друга, Сергей широко разводит руками в своей однокомнатной, переполненной книгами квартирке, прикидывая, куда его усадить. Конечно же, Серёга тоже изменился, но не расширился и не омужичился, как Боря Калганов, а, напротив, вытянулся, высох, хотя понятно, что ни армейских «физо», ни строевых он не видел, да, наверное, и не увидит. Взгляд его теперь

спокойный, пристальный и уже совсем по-взрослому умный. Интеллигент, одним словом. И никуда тут не денешься. Приятно почему-то осознавать, что твой друг – интеллигент.

Серёга в эти дни немного прихварывает: его мелкие непредсказуемые несчастья остаются при нём – надо ж умудриться простыть в самом начале пока ещё тёплой зимы. Вот и греется теперь в тёмно-синем свитере с глухим до подбородка воротником, швыряя красным носом. И голова его на этой цилиндрической подставке воротника кажется ещё более внушительным кочаном, чем прежде. Как не улыбнуться тут уже от одного его вида? Ах ты, чудо-чудище!

Усевшись в кресла, они продолжают с приятным полузнаванием рассматривать друг друга. На лице Серёги всё большое: и нос, и губы. Но глаза у него непропорционально большие даже среди всего большого. Таких громадных, беззащитных, с длинными ресницами глаз у людей не бывает вообще. Это глаза коровы или какого-нибудь другого добрейшего существа. Их моргание похоже на широкие яркие всплески. Пожалуй, женщины обязаны любить Серёгу лишь за одни эти очаровывающие озёра, из чистоты которых не выплыть ни одной. Наверное, и мир через такие

приборы представляется другим: широкоформатным, выпуклым и с миллионами оттенков. Из-за своих крупных черт лица Серёга всегда казался забавным. Когда они в детстве купались в Ононской протоке, то вода через его ноздри-пещеры за текала в нос. Поэтому нырял и плавал он, обычно зажав нос пальцами. Но это же умора: видеть человека, который плывёт, держа себя за нос над водой! Однажды он прищепил нос длинной деревянной прищепкой для белья, и плывущий Роман, увидев его, так глубоко хлебнул воды от внезапного хохота, что едва потом прокашлялся. И как теперь, помня эти эпизоды, не смотреть на друга без улыбки? «Нет, дорогой мой, ты просто обязан быть великим человеком. Я знаю, что ты куда умней и талантливей меня. Но я тебе не завидую. Я с радостью принимаю твоё превосходство по части способностей и ума. Я не хочу ни в чём тебя превосходить. Мне приятней лишь просто как-то присутствовать в твоей жизни. Мне достаточно знать, что ты, такой умный, считаешься со мной. Мне нравится противоречить тебе, перебивая какую-нибудь твою умную мысль, но, пожалуй, лишь затем, чтобы показать, что я тоже что-то соображаю. Давай, Серёга, дуй вперёд! И я от всей души буду гордиться тобой».

– Слушай, – говорит Роман, обеда вдвоем в квартире и почему-то снова вспомнив бронзовую

ручку на двери, – а ведь ты, кажется, нехило устроился.

– А-а, – вздохнув, отвечает друг. – Знаешь, как всё это неловко? Квартира-то бабушки жены.

Живу на всём готовеньком. Стыдно.

Ну, если так, то конечно. «А я вот так бы смог? Тоже, наверное, нет».

Разговор начинается медленно, а, набрав обороты, становится сумбурным, скачкообразным –

тому и другому не терпится рассказать о себе, причём как-то всё сразу. О родителях умалчивают совсем, чтобы не заговорить о родителях Серёги.

– Да уж, все наши революционные Пылёвские планы оказались нереальными, – говорит

Серёга. – Я понял это раньше тебя, потому что больше видел, что там творится.

– Да планы-то, может быть, и ничего, – пожав плечами, отвечает Роман, – просто мы ещё сами не те. Мы ещё до них не доросли.

– Так ты не отказался от всего, о чём мы переписывались?

– Когда уезжал, то думал, что отказался. А теперь – не знаю. А что ещё в жизни останется без

этих планов? Посмотрим, как всё дальше повернётся. О, да меня же там чуть не женили! –

вспоминает вдруг Роман и рассказывает всё сначала о

Светлане Пугливой Птице, а потом и о

Бабочке Наташке.

Ну, а если уж пошла такая тема, то доходит очередь и до городских приключений, о которых

53

Роман, вдруг неожиданно для себя, рассказывает с какой-то бравадой, невольно перенятой у

Костика. (Лучше уж рассказывать лихо и с вызовом, чем виновато.) Серёга слушает, опустив голову

и неловко, будто стеснительно, улыбаясь. Нет, наверное, не стоило всё это вываливать ему. А с

другой стороны, он же друг, а не отец, от которого надо что-то скрывать. Может быть, как раз ему-

то и надо выложить начистоту всё о своих похождениях...

– Вот этим-то ты и был занят всё это время? – спрашивает Серёга.

– Этим, – неожиданно покраснев, признаётся теперь Роман.

– Ну-ну... Понятно...

– А ты как? Как твоя жена? Где она сейчас?

– На лекциях. Это я приболел да дома сижу.

– И как тебе, в общем и целом, женатая жизнь?

– Нормально. Можно даже сказать хорошо, – сдержанно после откровений Романа отвечает

Серёга.

Он протягивает руку и достаёт с полки чёрный пакет с

фотографиями. Пакет точь-в-точь, как в
общежитии с коллекцией. И вдруг неожиданная фантазия
– а что, если фотография его жены
хранится и в его пакете?! Город невелик, район у них
один... Спасает здесь лишь его табу на
замужних. Хотя как он *может* так думать о ней? Что та-
кое изнутри толкает его на подобные гадкие
предположения?! Вот взять бы и острым ногтём прище-
мить в себе эту мерзость! Пока не раскрыт
пакет, интересней загадать другое: чем же отличается де-
вушка, ставшая женой лучшего друга, от
девушек из его коллекции?

Ах, вот она какая... Лицо её, конечно же, не знакомо. По-
жалуй, она красавица: чёрные
вьющиеся волосы, тёмные глаза, носик с маленькой пока-
той горбинкой. Кажется, она и впрямь
какая-то особенная. Так что успокойся, пижон, для таких,
как она, ты мелко плаваешь.

Серёга тоже смотрит на карточки. Лицо тлеет спокойной
улыбкой. Понятно, как сильно и нежно
любит он свою жену.

– Не пойму, – говорит Роман, – она что, не русская?
– Еврейка, – отвечает Сергей, извинительно улыбнув-
шись. – Я, если честно, сначала даже
сомневался... Ты же знаешь, как у нас косятся на евреев,
хотя и без конца долдонят об

интернационализме.

– А как её звать? Ты мне про это даже не написал...

– Элина.

– Элина? А что? Красиво.

– А тебе как они, евреи?

– Да никак. Я их, можно сказать, и не знаю. В Пылёвке их нет. На заставе тоже что-то не

встречал. Татары были, башкиры были, чеченцы были, а вот евреи – нет. Нет их и на заводе, где я

сейчас работаю. Они вообще какие-то редкие. Среди моих женщин евреек тоже не было.

Серёга вздыхает, успокоенный этой реакцией друга.

– А у нас в училище чего только о них ни болтают. Сначала меня это напрягало, а теперь я вижу

даже какое-то достоинство в том, что моя жена – еврейка. Всё-таки евреи – великий народ. За

ними культура, которая является осью всей мировой культуры...

– Да какая разница – осью или не осью, – говорит Роман. – Так и так все нации скоро

перемешаются. Меня на заставе заставили как-то лекцию по национальному вопросу подготовить,

так я столько литературы пропёр. И даже кое-какие свои выводы сделал. Замполит сказал, что

нигде такого не читал.

– И что же ты такое вывел? – удивлённо спрашивает Се-

рёга.

– Я сказал, что если эволюционно каждая нация приспособилась лишь к какому-то

определённому климату, то теперь, когда мы можем жить где угодно, порода людей должна быть

универсальной. Так что, нам надо перемешаться хотя бы уже из-за этого. Ну, для увеличения

возможностей каждого человека... Так что, стоит ли переживать по таким пустякам, как

национальность?

Серёга, потупившись от его наивных выкладок, всё же рад и такой поддержке.

– Ну, а как у вас всё вышло-то? – спрашивает Роман.

– Да обыкновенно... Вроде бы даже случайно, – отвечает Серёга, отделяя целомудренной

улыбкой чистое от того нечистого, что может прийти сейчас в голову его слишком уж искушённого

друга. – А, может, и не случайно... Как судьба... Знаешь, я ведь поначалу-то и внимания на неё не

обращал. Да и она тоже. Но однажды после лекции... Вот именно: «однажды», потому что, как

рассказывала потом Элина, на неё просто что-то накатило... Так вот, подходит она ко мне уже в

раздевалке, как нам уже из института выходить, тянет за рукав в сторону и спрашивает: «Можно с

вами поговорить?» Смешно, но она и называла-то меня

тогда на «вы». Вижу, она какая-то убитая.

Думаю, несчастье у неё какое-то, что ли... «Да нет, – говорит, – просто настроение мерзопакостное.

Почему-то грустно и одиноко...» А я до неё как-то ни с кем и познакомиться не мог. Я почему-то

боялся всех... А тут, вроде, ничего страшного. Решил её проводить... Ну, то есть, она сама

попросила... И только тут-то я к ней и присмотрелся. – Серёга кивает на фотографии, как на самое

54

веское доказательство. – Приехали домой, вошли, а в квартире никого... Только ты не воспринимай

всё это как-то... низко, что ли... По форме-то тут вроде всё просто, но на самом деле не так...

Роман внимательно слушает друга с высоты своего опыта. Конечно, ситуация Серёги банальна.

Странно даже, что после такого обычного визита к девушке можно сразу сделаться мужем. Уж его-

то главное знакомство будет необычным и неожиданным. Это будет не просто знакомство, а

потрясение, событие, великий случай, казус, в общем, всё, что угодно, но только что-то очень

отличное от того, что бывает у него сейчас.

– Ты не подумай ничего плохого, – снова просит Серёга, настороженный его нечаянной улыбкой.

– Сначала, когда мы к ней приехали, я и сам подумал не

то, что надо. Так нет. . Ну, в общем, я у неё первый. Был, как говорится, факт, удостоверяющий это. Конечно, ему неловко сообщать такие детали о любимой женщине. «Стоп, стоп, стоп – не надо воспринимать его каким-то тюфяком», – думает Роман, понимая, что Серёга и здесь значительно превосходит его. Легко перешагнув через эту сладкую, притягательную грязь Большого Гона, он свободно расхаживает в иных, недоступных высях. Серёга уже сейчас находится на такой духовной высоте, о которой тут ещё мечтать да мечтать. – Скажи честно, – всё же спрашивает Роман, – а у тебя-то был кто-нибудь до неё?

Покраснев, Серёга отрицательно качает своей большой опущенной головой.

– И что ты хочешь этим сказать? – спрашивает он, глядя исподлобья.

– Хочу сказать: счастливые вы люди. Я тоже мечтал о таком варианте, но у меня не вышло. Всё сорвалось. А вы должны жить хорошо и дружно. Ты в ней не сомневайся. Она у тебя что надо.

Ведь вот так сходу влюбиться в такого, как ты – это просто ненормально.

Сергей польщено смеётся и дружески тычет его кулаком в плечо – совсем как делали они это в детстве. И сейчас это означает простое: спасибо, друг.

– А я вот, видно, ещё не созрел до такого, – искренне признаётся Роман. – Сейчас я даже не понимаю, как это можно жить с одной женщиной? Без всей этой вертячки я себя уже не представляю.

– Так увлекись каким-нибудь делом... – уже куда теплее советует Серёга.

– А разве это не дело?

– Да я же серьёзно, – почти строго настаивает друг. – Бог с ними, с этими пылёвскими проблемами. Найди другую сферу приложения. Какую-нибудь профессию настоящую освой.

– Нет, – возражает Роман, – лучше копить не всякие там профессиональные знания, а самые главные – жизненные. Те, с которыми понятней жить.

– Тогда начни с каких-то духовных категорий. Читай что-нибудь, занимайся, обогащайся...

– Я психологию изучаю.

– Правда?! – восхищённо восклицает Серёга.

– Конечно. Надо же знать многообразие подходов к женщинам.

– А-а, – разочарованно вздохнув, машет друг. – А мне всё времени не хватает. Давно уже мечтаю по-настоящему почитать античную литературу. Ну, слышал, наверное, про Персея, Андромеду, Геракла...

– Эти сказки? – удивляется Роман.

– Э, сказки тебе! Да на этих сказках вся европейская культура зиждется.

– Всё у тебя что-то на чём-то *зиждется*, – поддразнивая его, смеётся Роман. – А зачем она, эта культура? В чем её смысл?

– Как это в чём?! – взрывается Серёга.

Говорят они ещё долго. Так вот, оказывается, чего не доставало в жизни – такого вот и бурного, и вдумчивого дружеского разговора, который с полным основанием можно назвать общением.

Пожалуй, пора уже уходить, но что же не приходит его жена? Не терпится взглянуть на неё, как говорится, в натуре. Конечно, ждёт её и Серёга, всё чаще и беспокойней поглядывая на часы. И

мелодично зазвеневший дверной звонок включает в нём какой-то ещё один уровень сияния.

– А у нас гость! – едва открыв дверь, тут же сообщает он жене.

Элина, не снимая пальто, нетерпеливо заглядывает в комнату.

– Здравствуйте! Ну, наконец-то, – говорит она, – а то мы вас уже заждались.

Это её «мы» просто опрокидывает Романа. Они ждали его оба! Наверное, одна из потрясающих прелестей семейной жизни в том и состоит, что человек,

живущий рядом с тобой, говорит не «я», а «мы». И у Серёги это есть!

– Называй его на «ты», – поправляет Эллину муж, – а то ещё зазнается чего доброго.

– Хорошо, – отвечает она, легко принимая поправку.

Выходит, что их и представлять друг другу не надо. Заочно они уже знакомы. Роман невольно

любуется ей. Элина в строгом брючном костюме, высока, стройна, красива. А ведь внешне-то они с

Серёгой совсем не подходят друг другу. Иногда Роман развлекается тем, что, увидев на улице

какую-либо женщину, представляет мужчину, который ей соответствует. Или наоборот через

мужчину пытается увидеть его женщину. Обычно пара находит практически всем. Наверное,

трудно было бы только с какими-нибудь великими, которым пара, кажется, просто не дана.

55

Попробуй вообразить, что Лев Толстой или, например, Леонардо да Винчи шепчет какой-то

женщине «я тебя люблю». Ведь это ж какая женщина должна быть!/? Бывают ли такие в принципе?

Конечно, Серёгу-то великим пока не назовёшь, но то, что он и Элина друг другу не подходят, видно

невооруженным взглядом. И потому в их союзе есть что-то странное, загадочное.

– Сергей! – выглянув из кухни, удивленно восклицает Элина. – Так вы что же, сюда даже не заходили? Даже чай не пили?

– Нет, – растерянно отвечает Серёга, в разговорах забывший обо всём.

Элина быстро собирает на стол. На кухне, уже в полных её владениях, чисто и уютно. На столе фиолетовые чашки и блюдечки с какими-то затейливыми вензелями. Порезано немного колбаски, немного твёрдого сыра. Все это дефицит, так что данные студенты отчего-то неплохо обеспечены.

Находится и бутылка ликёрчика.

С этого дня Роман становится самым почётным гостем семейного гнезда Макаровых, свитого в

его восприятию из бронзовой ручки, на дверях обитой пухлой дерматином, комнаты, запруженной

книгами, уютной кухоньки со столиком и фиолетовыми чашками на нём, но главное из неизменного

душевного уюта и гостеприимства. Он забегает сюда при каждом удобном случае, всякий раз

удивляясь обходительности и предусмотрительности хозяйки. Элина сразу запомнила, что лучший

друг её мужа любит густой чай с молоком, и никогда не забывает им угостить. Во всём городе для

Романа нет другого такого же места, где его встречали бы так приветливо, куда можно приходить,

как на какой-то нравственный полюс. Особенно ощутимой эта очистительная полюсность бывает тогда, когда он заходит к ним после какого-то очередного приключения, с новым «фантиком», пристёгнутым к душе. Хорошо, что эту «ордененосную» душу нельзя увидеть, а то Макаровы и на порог своего гнезда, наверное бы, не пустили...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Искренний день

В день рождения, в середине января, от родителей приходит перевод в пятьдесят рублей.

Вернувшись в общежитие с почты, Роман падает на кровать и, расслабившись, погружается в

зыбку поверхностную дрему. Открыв глаза минут через десять уже отдохнувшим и посвежевшим,

он, не поднимаясь, достаёт из кармана рубашки обе синих четвертных и квитанцию, заполненную

круглым почерком матери. Кто, интересно, придумал такое, что имениннику в день рождения дарят

подарки родители? Почему не наоборот? Что сделал именинник для того, чтобы родиться?

Напротив, это отца и мать надо постоянно благодарить за жизнь на этом белом свете. А в день

рождения – тем более. «Интересно, что внешне я почему-то не похож ни на маму, ни на отца, –

мелькает на мгновение в голове Романа неожиданная

мысль и тут же гаснет, не успев

осмыслиться. – Как-то они, дорогие мои, проживают там без меня? Надо бы как-нибудь съездить к

ним или уж хотя бы письмо написать». Во время службы переписка с родными была нужна, как

воздух, а теперь, вроде, как не совсем обязательно. Почему так? Из армии его ждали, питали

надежду, а теперь уже не надеются, махнули рукой – отломанный ломоть. Как-то всё-таки неловко

перед ними...

День рождения... «Бог мой! – расстроено думает Роман. – Мне уже двадцать один, а я ещё

никто и ничто...» Что это за событие такое – день рождения? Зачем праздновать факт, который

был, но уже никогда не повторится? Не умнее ли отмечать то, что ещё предстоит? Ну, день

неминуемой смерти, например? Жизнь всякого человека имеет начало и конец. Начало он

отмечает ежегодно, а о конце старается не помнить. Да и как этот конец отмечать, если не ясно,

когда он настанет? Точный год своей кончины не установишь – тут полная неопределённость. А вот

то, что датой станет один из 365-366 дней года, – это уж наверняка. Месяцем твоей смерти станет

один месяц из двенадцати, а числом – одно из тридцати одного. Вот и определи подходящие

координаты... Или последи за днями в течение года и выбери самый плохой. Зачем это нужно? Так для того, чтобы облегчить день рождения. Ведь жизненные итоги, даже если они хороши, всегда неприятны уже тем, что они *итоги*. Поэтому не лучше ли подбивать их в день смерти? То есть, надо отделить одно от другого: день рождения праздновать как день планов и перспектив, а день смерти – как день итогов. И тогда день рождения, освобождённый от лишней заботы, потеряет печаль. А впрочем, как тут ни умничай, сколько ни рассуждай, что правильной, что не правильной, а только дату смерти всё равно никто намечать себе не захочет. Праздником это быть не может.

Так что, вся нагрузка итогов как лежала, так и будет лежать на дне рождения, которому радуются лишь в детстве – на подъёме, а на спуске, как всем известно, от него уже грустят...

По хорошему-то, день рождения надо бы вообще проживать вместе с близкими людьми. Пусть они пособят пройти через него. Пусть поддержат в этот день, когда время обнажено и воспринимается болезненно, остро, как в тот самый момент, когда из ствола жизни проклюнулся новый росток. Именно в этот день человек был опущен откуда-то с вышних далей и лёгким

шлепком направлен по жизненным годовым виткам с неизвестным их количеством. Только связь его с мистическими высями не прерывается, потому что на каждом витке он возвращается к этому обнажённому, не изолированному от обыденности месту. Так что день рождения – это самый мистический, самый искренний день любого человека... Повернув голову, Роман смотрит в окно, а там уже смеркается. День практически позади, а ведь именно сегодня, в этот промежуток обнажённого времени, как раз и могло бы прийти что-то необычное. Именно сегодня любое событие способно напрямую прикипать к Судьбе. Так что, в любой рядовой день можно было бы полежать ещё немного, поразмышлять, а потом взяться за книжку и читать её, так же размышляя, но только не сегодня. Каким был этот день двадцать один год назад? Как выглядели тогда родители? Конечно же, они были молодыми и счастливыми... Расспросить бы их как-нибудь о разных мелочах главного этого дня ...

Но как *быть* сегодня? На заводе он про день рождения умолчал, чтобы избежать предложения поставить бутылку. Бутылки, положим, не жалко, да только что интересного в перспективе

банальной мужской выпивки? Сегодня хочется тепла. Навестить кого-нибудь из своих женщин, что ли? Но все они – для будней. Для душевного события женщины нет.

Конечно, теплей, чем в гнезде Макаровых, его не встретят нигде. Они с Серёгой помнят дни

рождения друг друга и, скорее всего, Серёга поджидает его вечерком. Однако у друга всё своё. Как

пойти в чужой дом со своим днём рождения? Вот он я – за поздравлениями пришёл!? Как можно

постоянно с бравадой заявлять, что тебе на этом свете лучше всех, а в день рождения приползти к

старому другу, потому что нет ничего своего? Откровенно явиться к нему за теплом – значит

выглядеть уж и вовсе ничтожным. Понятно, что по большому-то счёту Серёга прав: жизнь и впрямь

надо налаживать поосновательней, да только не сегодня же демонстрировать свою слабость.

Важно и другое – тепла-то ведь хочется не такого, какое встретит он у Макаровых. Проверено уже,

что когда он бывает у этой счастливой пары, его одиночество уменьшается, но сегодня-то хочется

быть рядом с таким человеком, с которым оно исчезло бы совсем.

Где же та женщина, с которой возможно такое? Когда случится его главное знакомство?

Роман тянется к приёмничку на тумбочке, щёлкает выключателем. О, как удачно! Поёт Майя

Кристаллинская: «Опустела без тебя Земля. Как мне несколько часов прожить? ...Если можешь, прилетай скорей...» Никому из своих женщин не признался ещё Роман в том, что это его любимая песня. Той, перед которой можно обнажить душу, пока что нет. Можно было бы признаться Любе, да мало было времени – не успел. Эту песню он полюбил в армии, когда однажды, вчувствовавшись, вдруг воспринял её слова как чьё-то, пока что не понятно чьё, искреннее послание себе. И тогда нежный посыл песни растворил душу. Теперь же она и вовсе плавит его, как мята. «Нежность» – так эта песня и называется, и уже само её название похоже на высшее откровение. И верно: хочется жить уже не арифметикой чувств, а их высшей математикой. Не просто чувствами, а чувствами-паутинками. Лишь они-то, наверное, единственные, и способны сплетать друг с другом в эфире пугливые радужные души. Нежность – вот газовое наполнение той сферы, в которой способны жить эти тонкие чувства. Вне её очень ранимые, а потому истинные чувства, умирают. Только где эта сфера, где эти чувства? Есть лишь обыденные знакомства,

встречи, фотографии – коллекционирование, в общем. Лица являются и исчезают. Знакомства тянутся по физиологическому подвалу, а тебе мечтается о верхнем, поднебесном этаже.

А, может быть, не случайно «Нежность» влилась в эту комнату и в его душу именно сейчас? И, кстати, не для важных ли необычных встреч и событий существуют такие искренние дни?

И лежать уже нельзя. Нужно как-то куда-то двигаться. Причём, надо поторапливаться, день уходит, можно не успеть. Но куда? Да хотя бы в тот же «Коралл» или, как его ещё называют,

«Пыльные сети» – из-за сетей, висящих над эстрадой для придания «морской атмосферы». Если чему-то сегодня суждено быть, то оно найдёт его в любом месте. Главное – не лежать, а

выскрестись из затона общаги куда-нибудь на стремнину. Однако в ресторане всё то же. Для прокуренного стабильного питейного заведения его

обнажённый, искренний день – обычное время, будний вечер, среда. Музыканты играют как из-под палки. На эстраду к своим сетям они после частых затяжных перерывов выходят походкой ленивых

котов. А по выражению лиц – так это для них и вовсе каторга. Все уже знают, что в конце вечера перерывы станут ещё длиннее, музыканты – ещё ленивее,

а потом патлатый солист в потёртых джинсах возьмёт микрофон: «Наша программа окончена», – объявит он. После этого хитро усмехнётся и добавит: «Но вечер может быть и продолжен». Знают паразиты на что надавать.

Музыка в ресторане – это всё. Пока есть музыка, есть настроение, есть веселье. А как оборвалась, так от ресторана лишь одни унылые стены и остались. И когда те, кто не хочет быстро уходить домой, понесут к эстраде пятёрки, музыканты, заметно оживившись, поиграют ещё сверх утверждённого репертуара.

Сегодняшняя тоска особенная. Такая же, как и в Новый Год, тоже встреченный здесь. Под утро новогодней ночи Роман оказался под одеялом какой-то тридцатилетней тётки, которую сейчас без записной книжки и не вспомнит. Для одинокой женщины её приключение, возможно, ещё как-то связывалось с праздником, а для него и Новый год свёлся этим обычным эпизодом к будням.

57

Особенность сегодняшнего вечера позволяет видеть всё происходящее в зале отстранённо, со стороны, спокойней и осмысленней, чем обычно. За соседним столиком, кстати, отмечается день рождение пожилой представительной дамы. Все женщины

там в длинных вечерних платьях,

мужчины – в пиджаках и при галстуках. А ведь он тоже мог бы пригласить в ресторан (только не в этот) Серёгу с Элиной и вот так же уютно посидеть. Жаль, не догадался...

Сегодня в зале активней всего тройка мощных дам в облегающих шёлковых платьях, хорошо

показывающих цилиндрическую массивность зрелых тел.

Время от времени они выходят размять

под музыку эти свои основательные туловища с талиями наоборот. К одному из столиков, где

восседают две женщины постройней и помоложе, подходит пара уже нелинейно двигающихся

кавалеров. Остановившись возле дам, они, тыча пальцами за их спинами, но на виду всего

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.